

БЕРЛИНСКИЕ СТРАНИЦЫ

Не только для писателя удача быть свидетелем важного события, но и для самого события удача, если его очевидцем был писатель, сложившийся или потенциальный. Он постарается воспроизвести черты и характер события, позаботится, чтобы оно не стусежалось в потоке времени, чтоб не исчезло бесследно, не было забыто или искажено впоследствии, когда бы потомки пожелали реставрировать его, не располагая достаточно надежными данными и представлением о нем. Примерно так, может, несколько более сжато и другими словами, высказался на встрече с читателями автор книги «Люди с чистой совестью» Петр Вершигора. Это было в послевоенные годы.

В его словах, обращенных к своему опыту пережитого и работе над книгой, заключалось понятие о долге писателя, участника и очевидца значительных событий, — рассказать о них.

Мне это было близко, ведь и меня судьба наделила участием в исторически значимых событиях, о которых надлежало рассказать. Я имею в виду события, связанные с падением Берлина. В те дни мне выпало в качестве военного переводчика участвовать в розыске Гитлера, а вслед за обнаружением его мертвым — в расследовании, призванном установить истину о смерти Гитлера и опознать его.

Спустя годы я рассказала об этом в документальном повествовании «Берлин, май 1945». О некоторых сторонах работы над ним пойдет здесь речь.

После войны я по демобилизации покидала свою часть с напутствием товарищей: «Из нас, участников этой «эпопеи», написать о ней можешь ты. Это твой долг».

С тем я вернулась из Германии домой, училась в Литературном институте, но писала рассказы о другом периоде войны, неблагоприятном, трагическом, когда жертвы и самоотречение народа не награждались

еще победой. В тех болевых очагах оставалась моя душа, хоть и выпренок так выразиться, но это так. Однако зов и гнет другого долга я действительно ощущала.

Были и не зависящие от меня препятствия. Были и неудачные попытки с моей стороны приладиться писать об этом повесть по традиционным литературным канонам с тем, чтобы все персонажи — и Геббельс, и Гитлер, их жены и любовницы — думали, действовали и говорили так, как то за них представляется автору.

Исписанные страницы были вовремя забракованы мной. Тогда я принялась писать, придерживаясь только того, что сама видела. Оказалось: хоть и пишешь о том, чему сама свидетель, ошибочно думать, что задача воспроизвести на бумаге то, как оно было, — проста. Во всяком случае, для меня она такой не была. Совсем не тотчас, не с ходу дались интонации, ритм, которые ввели повествование в какое-то русло, — удачно или нет, но повествование двинулось по нему.

Я не исследователь и едва ли могла бы замыслить работу об исторических событиях, с которыми никак судьбой не связана. Побудителем здесь было пережитое, личное участие, свидетельский азарт. И в моем случае память зрения и слуха, всех чувств мобилизовалась, и как ни жесток материал, но он о пережитом, будоражащем, и потому так называемое лирическое «я», модное в те годы, быть может, нашло в нем лазейки, чтобы пробиться. Глядишь, и в меру твоих возможностей ткется ткань повествования — на подлинной, фактической основе. Такого опыта до того у меня не было.

Поначалу я располагала немногими записями, внесенными в тетрадь еще в те майские дни 1945 года, и одним-двумя документами. Объем первой публикации («В последние дни» — «Знамя», 1955, № 2) не составлял и трех авторских листов. В последнем издании — двенадцать. И я могу проследить, как книга наращивалась во взаимодействии с читателями, их письмами, встречами с ними, во взаимодействии с документами, с памятью и в связи с посещением мест тех событий.

Из полученных мной читательских писем особое внимание, естественно, привлекли те, что были от

участников событий. К примеру, в опубликованном тексте я упомянула старшего лейтенанта Ильина в связи с тем, что это он обнаружил в бункере имперской канцелярии детей Геббельса, отравленных родителями. Ничего о нем, кроме фамилии, я не знала, и у меня была только одна фраза: «Детей обнаружил в одной из комнат подземелья старший лейтенант Ильин 3 мая».

Я получила от него письмо: «Вот я и есть тот самый старший лейтенант Ильин, большое спасибо, что не забыли вспомнить... Были я, мой солдат Шарабуров, Палкин и еще один солдат, фамилию его не знаю, по национальности еврей, и был дан на всякий случай в качестве переводчика. В то время стреляли мы, стреляли в нас, но, к счастью, остались живы. «Вальтер» 6,35 мм, заряженный, с запасной обоймой мной был взят у Геббельса в кабинете в столе, там были еще два чемодана с документами, два костюма, часы. Часы Геббельса сейчас находятся у меня, мне их дали как не представляющие никакой ценности, и я их храню как память.

3 мая, уже немного освободившись, бродил по рейхсканцелярии и продовольственным складам. Ну что ж, теперь это забытая история... Ну вот и все, что я хотел написать.

...А в комнате, где лежали отравленные дети, абсолютно ничего не было, кроме постельной принадлежности. Я спросил через своего переводчика, почему отравили детей, они не виноваты...»

В извлечениях этот живой, непосредственный рассказ Ильина вошел в повествование, дополняя его и нагляднее представляя одно из звеньев событий.

Откликнулся и другой упомянутый мной участник событий — главный судебно-медицинский эксперт 1-го Белорусского фронта подполковник медслужбы Шкаравский. Он тогда возглавлял комиссию по проведению судебно-медицинской экспертизы — важного этапа расследования. Он изложил в письме многие подробности и перипетии работы комиссии, расширив мое представление об этом. Шкаравский назвал в письме свое имя и отчество — Фауст Иосифович. Как тут было не вос-

кликнуть, не внести в текст: «Воистину знаменательно — Адольфа Гитлера анатомировал доктор Фауст!» Так прибавилась еще какая-то краска в повествовании.

Читатель из ГДР Леон Небенцаль — он потом перевел на немецкий язык мою книгу — прислал мне напечатанное в западногерманском журнале интервью с Кете Хойзерман, ассистентом зубного врача Гитлера. Она была для нас самым веским опознавателем. Ее свидетельства неопровержимо приняты на Западе. Мне представилась возможность с ее точки зрения увидеть одну из сцен в калейдоскопе тех майских дней, ее глазами увидеть и нас, в том числе и себя. Фрагмент интервью я процитировала в книге.

Один читатель обратил мое внимание на то, что в западной прессе гремит имя зубного врача, проживающего в ФРГ, Михаэля Арнаудова, сделавшего корреспондентам заявление, что он видел мертвого Гитлера, участвуя в опознании его. Шел двадцатый год без войны, и вновь вспыхнул интерес к тому, жив ли Гитлер, не объявится ли он, когда истечет двадцатилетний срок, и не окажется ли по действовавшему тогда на Западе законодательству неподсуден за давностью. Я просмотрела в западногерманских журналах «Штерн» и «Шпигель» сенсационный материал, вызванный заявлением Арнаудова, и по напечатанным портретам узнала его. Он уже был упомянут мной, правда, без фамилии, которую я не помнила отчетливо. Тогда, в мае 1945-го, нам надо было отыскать дантистов Гитлера для проведения опознания. Но могли ли мы надеяться отыскать кого бы то ни было в хаосе разрушенного войной огромного города? И вот возник, как я писала в книге, «приятный молодой болгарин, округло-волнистый студент, закончивший курс стоматологии в столице третьей империи и пока что, в связи с событиями на его родине, вроде бы интернированный, хотя и без отрыва от стажировки. Когда готовый указать нам, где находится приватный кабинет личного дантиста Гитлера, молодой человек садится в машину и машина трогает, ни он, ни мы не знаем, что наш совместный путь по бездорожью рухнувшего Берлина, описанный им через двадцать лет в интервью, сотрясет сенсацией чуть ли не все газеты мира. А в эфире, тесня друг друга, сливаясь в лихорадочный гул, радио-

станции будут выкрикивать: «Обладатель тайны века!.. Стоматолог из Киля!»

Но он не обладал этой тайной, и вскоре в тех же журналах и газетах его стали клеймить («Спекуляция на тайне опознания Гитлера»), и портреты его печатались перечеркнутыми с подписью под ними: «фальшивый свидетель». Но и это неверно. Он частично участвовал в том, о чем заявлял. Он был нашим проводником в лежащем в руинах огромном городе и мог легко уяснить, зачем нам необходимо было разыскать дантистов Гитлера и историю его зубных болезней. А когда с помощью студента мы отыскивали зубо-врачебный кабинет и ассистентку гитлеровского дантиста, мы простились с ним, он больше не был нужен. «И вот когда такое неожиданное, такое жгучее, авантюрное приключение, в которое молодой человек был ввергнут, вступало в решающую фазу, занавес опустился, действующие лица скрылись с его глаз. Что дальше? Как тут не поддаться фантазиям», — заключала я теперь этот рассказ, вернувшись к нему в связи с новым изданием. Специфика документальной литературы делает возможными дополнения при новых изданиях.

Выше приведены примеры из писем читателей, которые непосредственно или косвенно давали толчок повествованию или могли частично быть процитированы в нем. Книга пополнялась подробностями, исходившими от участников событий или в связи с ними. Многие же из тех писем, что были для меня познавательны, оставались вне книги. Далеко не всякая информация, если она и по делу, срачивается с тканью повествования: тут действуют отбор, интуиция — постоянные подручные писателя в работе, которая, на мой взгляд, не поддается расчленению, рациональному лишь анализу и в том случае, если речь идет о прозе документальной.

Письменное и устное общение с читателями других моих книг (не документальных) было скорее в помощь уже новым, бродившим во мне замыслам, то есть будущим книгам, а не тем, что были объектом обсуждения. Но ведь и такое случается не часто. И похвалу, и нео-

добре приходится воспринимать критично. «Голос читателя» — не нечто абсолютное, и нельзя идти на поводу у него. Иногда общение с читателем (в собирательном смысле слова) изнурительно. И все же я благодарна этому общению: пусть далеко не всегда, но бывало же оно и плодотворным. Приведу в подтверждение примеры.

Мое первое выступление перед читателями состоялось по приглашению Центрального музея Вооруженных Сил СССР. Мне предстояло выступить перед коллективом научных работников музея, их внимание привлекла первая моя публикация о штурме Берлина. Меня заранее попросили начать с рассказа о себе, о том, как оказалась в армии. Оставалось еще дней десять до назначенного выступления, но я, что называется, не спала, не ела, готовясь к нему и испытывая страх от необходимости выйти перед аудиторией и заговорить. Я рылась в памяти и в старых заметках, чтобы наскрести по крохам какой-то членораздельный рассказ о том, как попала в армию, о начале войны, о курсах переводчиков, где обучалась одной из древнейших военных профессий — военного толмача.

На этой первой — не в письмах, а лицом к лицу — встрече с читателями была благожелательная атмосфера, облегчившая мое испытание. И вынесла я наблюдение, оказавшееся для меня важным, плодотворным: штрихи предфронтальной жизни курсантов, эвакуированных на Среднюю Волгу, порой курьезные, юмористические, горьковатые, интересовали моих слушателей, пожалуй, не меньше, чем сенсационный рассказ об обнаружении Гитлера. Это наблюдение я могла проверить позже в других читательских аудиториях. Память и чувство активизировались, и еще спустя время я стала писать повесть «От дома до фронта». Зерном ее было мое первое выступление на встрече с читателями. Повесть была опубликована в «Новом мире».

Так, вынужденная предстать перед читателями с рассказом о той поре, я обрела тему и замысел книги.

Другой случай. Меня спросили на читательской конференции, возвращалась ли я на места, где проходил наш фронт. И я рассказала о том, как приехала после

войны к моей первой хозяйке во фронтовой деревне. Говорила я, переживая повторно то, как вошла через двадцать с лишним лет в ту же избу, как встретила с хозяйкой. А тишина в читательской аудитории, лица сопереживавших со мной людей остались памятны. Это волновало, рыхлило почву памяти, горечь памяти... И помогло потом писать эпилог «Возвращение» в повести «Февраль — кривые дороги».

И еще один случай, предшествовавший только что приведенному. На встрече с читателями в одной библиотеке выступил с предваряющим обсуждение словом Л. Аннинский, тогда еще не знакомый мне критик. Говоря о моих рассказах о войне, написанных от первого лица, он в потоке своих интересных суждений высказал и такую примерно мысль: ко времени, с которым соотносятся рассказы, «что-то уже переступлено» рассказчицей. Не слишком досконально выраженная мысль оставляла пространство для размышления.

Года через полтора я начала повесть «Февраль — кривые дороги». В этой повести рассказчица, попав на фронт, в первые же дни оказывается в крутом месиве войны. Война, надо думать, «обрабатывает» ее, если не убьет, природнит. Что-то будет «переступлено» ею.

Повесть, правда, не об этом. Но одним из толчков, обративших меня к более раннему, чем в рассказах, периоду войны, была и высказанная Аннинским мысль. Профессиональный литератор — важный, убедительный, существенный читатель.

На протяжении многих лет был один человек, чьему вкусу я полностью доверилась и чьи суждения о моей работе были для меня важнейшими. Думаю, что так бывает и у других писателей.

Возвращаюсь к книге «Берлин, май 1945». Она оказалась в широком общении с читателями. И специфика книги с ее сквозной фабулой (штурм Берлина, поиски Гитлера, обнаружение, расследование) позволяла при каждом новом издании восполнять многое — больше рассказать о событиях, напрямую или косвенно свя-

занных со всем сюжетом, о действующих лицах, передать атмосферу тех дней, воссоздать происходившее по ту и эту стороны фронта, разделенного всего лишь берлинской улицей. В этой работе над книгой участвовали, можно так сказать, и читатели.

Письма приходили, конечно, разные: чаще в поддержку книги, иной раз с недоумением по какому-либо поводу, а то и с курьезными пожеланиями, вроде того, к примеру, чтобы я обрисовала и выслала почтой читателю для задуманной им детективной повести каких-нибудь подходящих персонажей, действовавших в ОКВ — верховном главнокомандовании вермахта. А некто Гарик из Харькова испещрил письмо расхожими вопросами о фашистском тиране и его последних днях, сам признавая: «Моим вопросам нет конца». Бесплодное любопытство нередко захлестывает письма, но нет-нет да и прозвучит в письме или на встрече с читателями вопрос, который не останется для меня без последствий, побудит развернуть обстоятельнее ту или иную ситуацию, развить мысль, заточить мотивировки в книге. Так вот издавна возник и не прерывается своего рода диалог с читателем, пусть не явно, но отраженный в книге.

Попробую объяснить. «Я знаю, — писал москвич Соловьев Д. К., — что мой отзыв для Вас ничего не стоит, потому что я ничего не стоящий ценитель искусства, а самый и даже еле характерный для нашего времени читатель».

Нет, неверно — стоит. Положительные отзывы о прочитанном поддерживают нас в многотрудном деле, добровольно обрекающем на уединение, а порой и на одиночество, вторгаясь в него одобряющими голосами. Но сейчас остановлюсь на другого рода письмах.

Из села Ново-Гупаловка Запорожской области инвалид Отечественной войны Б. Дащенко, участник боев за Берлин, прочитав мою первую публикацию в «Знамени», писал: «Вы рассказываете очень сжато, без подробностей... Я хочу Вас просить, как и многие другие солдаты того времени, в закрытом письме или в открытом писании объяснить и рассказать мне о том, о чем Вы рассказали, но со всеми подробностями».

Из села Васильевское Акмолинской области по это-

му же поводу пришло короткое письмо: «Нужно ли понимать это исторически правильно или это воля автора? Просим не посчитать за труд ответить нам в нескольких словах. Просим ответ дать на сельскую библиотеку... Вышеизложенную просьбу подписывают: Лоскутов, Хлыстов, Редькин, Черникова, Петров и др.».

Авторы подобных писем, с их вопросами, с желанием доискаться, понять, узнать больше, утвердиться в том, что сказанное — правда, укрепляли во мне потребность рассказать о событиях в мае 1945-го в павшем Берлине значительно полнее, обстоятельнее. Но прошло много лет, и, чтобы расширить объем повествования, нельзя было полагаться только на память. В таком документальном повествовании ничего нельзя прифантазировать, примыслить или сказать с недостаточной точностью, приблизительно. В этом и требование самого жанра. И слишком ответствен материал, и не проста задача — завоевать доверие читателя, впервые выступая в печати с рассказом о том, что Гитлер был найден советскими солдатами. От окончания войны прошло тогда уже почти двадцать лет, а для читателя это была новость, воспринять которую он не был подготовлен, так как наслоились разные версии и у нас, и на Западе. Один читатель из Англии, историк по профессии, выступивший в поддержку моего изложения событий, прислал оттиск своей статьи. Он приложил к нему выдержки из книги известного английского историка Тревор-Ропера. По поручению английского правительства Тревор-Ропер по свежим следам событий вел расследование, но, не имея возможности доискаться до истины, изложил в опубликованной книге свой вывод: «Так или иначе, но Гитлеру удалось достичь своей последней цели. Подобно Алариху, разрушившему Рим в 410 году и секретно похороненному своими сторонниками на дне реки Бузенто в Италии, современный разрушитель человечества навсегда скрыт от людских глаз».

Как далек его вывод от правды! Тут бы и раззадориться, ответить, зная, что он не прав. И удовлетворить пожелания читателей. Это возможно было сделать, лишь подтвердив документами то, что я видела своими глазами. Но до поры я не располагала документами.

(По мере того как пишу, замечаю, что невольно выстраиваю стройный сюжет: читатель своим суждением, вопросом или посредничеством в ознакомлении с материалом, близким по теме, участвует в работе или служит ее ферментом. Но стройным этот сюжет отношений читателей и автора выглядит лишь потому, что привожу примеры выборочно, что, надеюсь, понятно.)

Документальный сюжет не плод авторского вымысла. Он нуждается в укреплении его достоверными фактами, а в случае с сюжетом книги «Берлин, май 1945» — неопровержимыми, с исчерпывающе убедительным их освещением. Осуществить это можно было, только опираясь на документы. Только с их помощью можно рассеять круговерть догадок, сомнений, неоправданных умозаключений, ложных версий. Всего этого накопилось за годы во множестве.

Путь к архивам был трудоемкий, казавшийся порой почти безнадежным.

В цитированном выше письме старший лейтенант Ильин вспоминает, что в кабинете Геббельса были «два чемодана с документами». Я их тогда разбирала. Там были дневники Геббельса — десяток толстых тетрадей, убористо исписанных. Это, несомненно, была одна из важных наших находок.

В самой первой публикации, послужившей началом будущей книги, я писала о найденных нами в подземелье документах и назвала некоторые из них. Ко мне стали обращаться историки и публицисты с вопросом, где они могут находиться. Интересовали их в первую очередь дневники Геббельса. Ответом я не располагала. Последний раз я их видела в штабе фронта, но сохранились ли они, не знала. Там были груды материалов, присланных с разных участков фронта в Берлине. В дни боев и при нехватке переводчиков на местах, а квалифицированных и вовсе, попадало сюда многое и не предоставляющее никакой ценности, а в этой массе могло затеряться и существенное.

Происходило нечто вроде девальвации документов. Оперативного значения они не имели, а историческая их значимость еще никем не обдумывалась. На войне

живут лишь войной. И победа не сразу приносит иное — иной мир, иное наполнение жизни.

Наконец я получила доступ к архивам. Способствовала этому моя вторая публикация: она была полнее той, что появилась в журнале «Знамя» (1955), — удалось, испросив разрешение участников событий, дать их подлинные имена, восстановить утраченные в журнальном варианте главы и поведать о том, как был обнаружен Гитлер. Так состоялось впервые обнародование этих фактов.

Небольшое это документальное повествование, увидевшее свет под тем же названием, что и в журнале, — «В последние дни» с подзаголовком «Записки военного переводчика», — вошло в состав моего сборника («Весна в шинели», 1961), оно не было выделено, затерялось в нем среди других рассказов о войне и к тому же при малом тираже не могло рассчитывать привлечь широкое внимание читателей. Так оно и получилось. Но, сославшись на него и тем самым на свою причастность к событиям, я получила возможность работать в архиве. Так, продвигаясь от одной публикации к другой, «подрастая», сама книга прокладывала путь к материалам, без которых документальное повествование, сколько-нибудь полное, обойтись не может.

Когда берлинский гарнизон сложил оружие и пала имперская канцелярия, мне довелось в ее убежище-подземелье разбирать документы. Это были донесения с мест уличных боев, сводки нацистского партийного руководства о положении в городе, переписка Бормана. Личные бумаги Гитлера в папках с грифом «Конфиденциально!». Это подземелье было последним прибежищем Гитлера с остатками его штаба. В обнаруженных здесь документах надо было найти следы последних дней третьей империи и ее главарей, чтобы установить истину об их конце. Затем документы отсылались в штаб фронта. Конечным их пунктом был этот архив.

Встреча с архивом была для меня потрясением. Прошло около двадцати послевоенных лет. Документ, выявившийся из глубины лет, нередко обладает повышенным художественным воздействием. А тут ведь были

акты, записи, протоколы, под которыми стояла моя подпись — военного переводчика, а то и моей рукой записанные, на плохой бумаге военной поры, в «патине» времени, пожелтевшие... И документы, которые я видела впервые, все вместе они — значительная, красноречивая, подлинная часть тех событий. В сорок пятом году они сошлись в архиве, и с тех пор никто к ним доступа не имел.

Нередко работе писателя сопутствует уверенность (а может, надежда): он расскажет о том, что до него никем не рассказано, что только он владеет чем-то таким, что скрыто от других, — в психологическом ли плане, в событийном ли, в самой теме и проч. Иной раз эта уверенность всего лишь иллюзия, но и она движущая сила в нелегкой работе.

В то время, когда я работала в архиве, в западной прессе писали, что смерть Гитлера «осталась тайной... У западных держав не было ее доказательств...» (1964). Но у нас доказательства были, и теперь я располагала документами и могла их предъявить. На этот раз мне в самом деле выпало быть первооткрывателем. Необычайно увлекательная задача. Мне предстояло рассказать о том, чему в значительной мере я была свидетелем, и почти единственным из оставшихся в живых, поведать миру о том, что до этой поры во многих подробностях известно не было, — о последних днях фашистских лидеров, их бесславном, жутком конце. И, имея возможность многократно подтвердить документально, вывести на свет из безвестности тот факт, что Гитлер был найден советскими войсками. Народ, отдавший все для победы, вправе узнать, что была поставлена и эта последняя точка в войне — ведь в Гитлере персонифицировался фашизм.

«Гитлер: труп или легенда?» Статья под таким заголовком была передана агентством Рейтер уже в мае 1945 года. Другой альтернативы не было. Всякая смутность насчет смерти Гитлера — почва для легенд о нем. Это на руку лишь его приверженцам.

И вот снова передо мной дела, папки, связки писем, дневники. И дневник Геббельса тоже. И наши — акты, протоколы. Ко всем этим материалам с сорок пятого года никто ни разу не притронулся. Мне суждено было

разобраться в них. Трудоспособность моя в дни работы в архиве для книги «Берлин, май 1945» намного превосходила обычную.

Несколько слов о документах вообще. Они могут быть разными — агрессивными, застенчивыми, с предвзятостью или чистосердечно наивными — какими угодно. Но они в своих «нагих» словах нередко несут художественный импульс. Меня они будоражили пережитым, перебрасывали мостки в прошлое, вооружали память.

Сама стихия — документы — может и поглотить, побудить довериться им полностью. Но ошибется тот, кто поддастся этому соблазну, абсолютизирует их, поставит знак равенства между документом и фактом. Об этом я могу судить ретроспективно. Тогда я пробиралась от листа к листу — каждый на свой лад чем-либо да был интересен, важен. Но осваивалось: совсем не каждый документ — факт, и даже факт — еще не вся правда. В факте таится его значение, лишь разгадав которое можно найти место этого факта в ряду других. Данные сталкиваются, противоречат друг другу, ошибаются. В этих живых, драчливых взаимоотношениях документов я бывала подчас арбитром, зная многое из того, что осталось за их пределами. В этом мне повезло. Я втягивалась в увлекательный исследовательский поиск, не предполагая о том заранее.

Вот из штаба фронта 3 мая отправлено важное сообщение в Москву. В горячке тех дней в сообщении вкрались фактические ошибки. Например, место описываемого в нем действия указано так: «на территории имперской канцелярии рейхстага...»

На самом деле имперская канцелярия и рейхстаг отстояли друг от друга на 500 метров. Их разделяла разграничительная линия между двумя наступающими армиями: 3-я ударная штурмовала рейхстаг, а 5-я ударная — имперскую канцелярию. И такого здания, гибрида, сращенного из тех двух объектов, не существовало, как не существовало и такого указанного в сообщении места действия: «На территории имперской канцелярии во дворе министерства пропаганды». Два упомянутых объекта находились на противополож-

ных сторонах улицы, изолированно друг от друга и на достаточном отдалении. Но когда «после нас» придет историк, он вправе будет посчитать этот документ основополагающим — лица, подписавшие его, и адресат авторитетны. Свериться же в натуре он не сможет — имперская канцелярия давно взорвана, и на ее месте в восточной части Берлина пустырь, — и будет искажена топография кульминационного сражения в грандиозной битве за Берлин.

«После нас» как будут изображать войну? — озабоченно задаемся вопросом мы, причастные к ней. Но и «при нас» она искажается, иногда и с помощью документа. Так, например, тот, о котором речь, недавно приведен в одних мемуарах без комментария, со всеми фактическими ошибками, описками, курьезами, которые, возможно, не заметил или не счел нужным прокомментировать автор этой книги.

Это всего лишь один пример, и не самый существенный, а лишь иллюстрирующий необходимость требовательно и тщательно анализировать документы, добиваться максимально возможной выверенности. В свою очередь работа с документами преподавала мне урок нравственности. В числе интересных находок была обнаружена мной в архиве телеграмма Бормана своему адъютанту, в которой он сообщает, что согласен с перемещением на юг. Почему-то она осталась тогда, в мае 1945-го, незамеченной, проскользнула, затесалась среди бумаг архива. По ходу повествования мне показалось естественным привести все же телеграмму на фоне тех дней. Сопротивления материала не последовало. Она могла и даже должна была быть прочитанной тогда, однако я-то знаю, что этого не было. В моем тексте ничего нарушающего течение событий вроде бы не произошло. Но спустя годы я увидела эту телеграмму перекочевавшей из моей книги в моем же переводе в воспоминания одного участника штурма Берлина, — она дала толчок различным построениям мемуариста, исходящим из того, что о телеграмме знали в те майские дни. Так я поспособствовала ложным умозаключениям, допустив вроде бы небольшую вольность. Документы мстили мне, требуя предельно добросовестного, щепетильного к ним отношения.

...В художественно-документальной литературе две ее стихии находятся если не в противоборстве, то и не в заведомом согласии, к нему надо прийти, чтобы разнокачественные составные сплелись в произведении в нечто единое. Художественно-документальное повествование многопластово, но при этом многообразии оно нуждается в цельности.

Документ стимулирует воображение, но необходимая скрупулезность в отношении фактов сдерживает, сковывает воображение, контролирует его. А точнее сказать — оно направляется в другое русло. В собственно художественном произведении с помощью воображения создаются характеры, образ времени. В документальном оно действует иначе: события, лица даны, конкретны, с помощью воображения проникается, постигается их характер. Ведь пишешь о подлинном, б ы в ш е м.

Документ — интересный, или важный, или живописный — норовит расположиться на страницах книги. Одному это удастся, другой же топорщится, не прилаживается. Третий может рассчитывать лишь на упоминание или пересказ. Четвертый — найдет себе место в сильно усеченном виде или в извлечениях.

Отбор материала, объем цитирования, место (в одном контексте документ прозвучит ярко, ударно, в другом — погашенно), выборки, монтаж, соотношение авторского текста и документа — всему тут голова интуиция, и далеко не всегда отдаешь себе отчет, почему сделалось, сладилось так, и не иначе, а по-другому вроде нельзя. Загадочно. Но очень увлекательно.

По-новому прочитывались и те из бумаг, которые я уже однажды читала. Мне посчастливилось многое откопать, и были ценные находки. Например, письмо, проливающее свет на последние планы Гитлера. Или та упомянутая, запропастившаяся в свое время телеграмма Бормана. Или важное письмо Гитлера сестре и многие, многие другие. Да и все документы были ценны, никогда не публиковались, не использовались, а они представляли значительный исторический интерес. Меня, получившую к ним доступ, это ко многому обязывало. Свою задачу я усложняла, решив, что в моей книге будут приведены, использованы, упомянуты только эти уникальные документы, никогда в обра-

щении не бывшие. «Все приведенные в этих записках документы (показания, акты, дневники, переписка и др.) публикуются впервые» — так и уведомлялся читатель этой книги.

Эти документы содержали штрихи к социально-психологическим портретам вождей и идеологов фашизма. И я попыталась с помощью документов воспроизвести фигуры лидеров, предоставив им самим высказываться. Их суть, их облик так отчетливо проступают именно в фабуле последних дней третьей империи, а не при звуках победных радиофанфар и в камуфляже пропагандистской размалевки.

Нагляднее всего это приложимо к Геббельсу. Одна глава в книге так и называется: «Дневник Геббельса». Я писала: «Дневник Геббельса — саморазоблачительный документ. Едва ли можно выразительнее, чем он это сделал сам, рассказать о типе политического деятеля, выдвинутого на авансцену фашизмом. Со страниц дневника встает его автор — маньяк и фанфарон, игрок и позер, плоский, злобный карьерист, одна из тех мизерабельных личностей, чьей воле подчинился немецкий народ».

В дневнике его автор с упоением раскрывает свою пропагандистскую кухню, характер политических провокаций, предпринятых им накануне нападения фашистской Германии на Советский Союз. Эти страницы дают представление о некоторых фактах, об обстановке, предшествующей началу войны.

Я цитировала дневник в целях выявления личности его автора и исторических фактов. В других случаях сцепление документов и фактов было сложнее.

Что касается названия книги, то читатели не безучастны к нему. Ф. Мазин, работающий на строительстве в Москве, в своем отзыве наставлял меня: «Обратите внимание на название книги. Здесь нужно учитывать многое»; призывал писать о войне: «Ведь тот материал того времени неповторимый и просится на страницы книги. Война ушла в историю... Вот пишут, например, теперь о событиях в жизни нашей повседневной, теперешней, таких событий и такого описания

еще будет много, но те события неповторимые». И он прислал мне более сорока писем, делясь тем, что пережил подростком в дни оккупации Ржева. В этих многостраничных письмах встречались наблюдения, сцены, написанные живо, непосредственно. Последнее письмо от него пришло десять лет назад, но долговечны отношения с читательскими письмами. Работая в этом году над новой повестью, я обратилась к письмам Мазина, сделала монтаж из их отрывков, и в повести есть рубрика: «Из писем Ф. Мазина». Я вновь написала ему, и он подтвердил свое разрешение публиковать его письма. Перечитывая письма, я не раз обнаруживала заботу Мазина о названии. То, которое имелось, не удовлетворяло его. «Найти хорошее название — вот это была бы книга», — писал он. Название действительно важная составная книги, подходящим надо, чтоб осе-нило.

Как бы там ни было, через десять лет после первой публикации я сдала в «Знамя» свое документальное повествование на ту же тему в расширенном объеме и оснащенное документами под названием «Берлин, май 1945». Оттолкнувшись от него, отдел публицистики дал материалам на международные темы соответственно названия: «Бонн, май 1965 года», «Вашингтон, май...». Я не знала этого и увидела все три названия вынесенными на обложку номера, когда образец обложки поступил из типографии на визирование в редакцию. Увидев, поняла, что вынуждена изменить свое название. Нелегко было убедить редакцию, что для вещи, в которой так важно мемуарное начало, разрушительно, если она может показаться читателю выполненной по заданию редакции, в системе других материалов, проштампованных одним и тем же приемом в названии. Непосредственность авторского побуждения, личный посыл, «одноразовость» в этом случае под сомнением. На путях прохождения книги приходится иной раз отбиваться от всего, что может ослабить доверие читателя к полной ее достоверности. В журнальном варианте моя вещь стала называться «Берлинские страницы», а в отдельном я вернула название «Берлин, май 1945».

Если книга пробилась к читателю, закрепилась в кругу чтения, то название становится слитно с ней, удачно ли оно или нет изначально.

...Выше я писала, что работа в архиве сопровождалась ценными находками. Но и в личном архиве я нет-нет да что-то для себя открываю. Вот сейчас, в работе над этой статьей, достав и перечитывая давние письма читателей, я нашла среди них одно, заинтересовавшее меня, его и позволю себе частично процитировать. Оно было адресовано в редакцию «Знамени»: «Берлинские страницы» Е. Ржевской напоминают недалекое прошедшее, события которого были так значительны в истории государств всего мира. В Берлинской операции я был в 16-й армии и с передовым КП передвигался вместе со штабом В. И. Чуйкова. Поэтому волнующие страницы Е. Ржевской читаются так остро и впечатлительно.

На наших глазах происходило крушение рейха, вермахта, нацизма. Но все это происходило в огне боевых действий, когда легко пропадали и исчезали не только ценности и документы, но и человеческие жизни всех рангов. Все наши войска жадно хотели знать: где же Гитлер и его соратники, — и не было долго ответа».

С заботой о читателях, не переживших войну, автор письма советовал оснастить книгу иллюстративным и справочным материалом. И сопроводить книгу фотографиями тех дней и событий — «тем ярче будет видна духовная нищета и авантюризм гитлеровской Германии».

Мне дорого было суждение участника Берлинской операции и то, что им отмечены исследовательские усилия в работе над книгой «по обрывочным наблюдениям и фактам, по разрозненным и неполным документам восстановить ход исторических событий...». Подписано письмо было: зав. кафедрой профессор Беляков Александр Васильевич, генерал-лейтенант авиации в отставке.

Но только сейчас, спустя годы, при прочтении, глядя на подпись, я подумала: какой же это Беляков, не тот ли, что вместе с Чкаловым и Байдуковым совершил беспосадочный перелет Москва — Дальний Восток и Москва — Северный полюс — США? И удостоверилась: это он. Всколыхнулись воспоминания, как школьницей вместе со всей Москвой, вышедшей на улицы, встречала летчиков-героев. И возможно, толчок, полученный памятью, отзовется в моей будущей работе.

Я вернулась в Германию через двадцать лет, работала в архивах, в Музее немецкой истории. Отыскалось много интересного, в том числе в Берлинском городском архиве, — детские сочинения, написанные в первые дни возобновления школьных занятий в 1945 году на тему: «Что я пережил в последние дни войны». Отрывки из сочинений вошли в мою книгу.

Прошлое всплывало, преследовало, возвращало к пережитому, вело по Берлину. Я ходила по улицам, которые помнила в огне, дыму, гари, в грохоте боя. Поехала в старый маленький город Стендаль, именем которого назвался Анри Бейль, проходивший здесь с войсками Наполеона. Здесь после победы стоял наш штаб. Отсюда я по демобилизации возвращалась домой.

«Зачем, спрашивается, мы возвращаемся на старые места, где никто нас не ждет... Что обронила я тут? Чего ищущу?»

Но что мы знаем про то, какую частицу себя оставляем там, где когда-то жили или побывали однажды. И может, это возвращение к прошлому — за той оброченной частицей, чтобы воссоединиться с самим собой», — писала я в дополненном по возвращении из Германии издании книги.

«Я ступила на безлюдную улочку, и очарование старинного города захватило меня. Ничего подобного я не предполагала встретить. Неужели это здесь я прожила три месяца своей жизни, ничего такого не видя, не ощутив. С какой же закрытой душой и глазами. С какой бесчувственностью перед красотой и глубинной связью веков».

Все вытеснявшая власть памяти о войне только теперь отпустила.

Режиссер Лондонского телевидения, снявший с моим участием одну серию в посвященном второй мировой войне многосерийном фильме, в заключение попросил привести какую-нибудь памятную деталь, относящуюся к тем дням, когда берлинский гарнизон сложил оружие и наступила тишина. Я вспомнила, как оказалась на улицах павшего Берлина: «Когда мы шли по темной, глухой улице, я вдруг услышала свист соловья... мне трудно объяснить, чем он тогда так поразил меня. Казалось, здесь, в Берлине, не только все живое, но даже

камни вовлечены в войну, подчиняются ее законам. А тут вдруг — соловей, несмотря ни на что, нерушимо выполняет свое соловьиное дело. После всего, что тут было, на затихшей берлинской улице свист соловья был удивительной вестью о живой жизни».

Ты вверяешь книге все, что нажил за жизнь. Но в свою очередь осуществленная книга, пока живет, резонирует, участвует в дальнейшей творческой судьбе автора, наделяет неожиданными обретениями. Таким обретением была для меня встреча с маршалом Г. К. Жуковым. Его заинтересовал «Берлин, май 1945». Но об этой встрече — в другой раз.

В ТОТ ДЕНЬ, ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

(Рассказ о встрече с маршалом Жуковым)

1

Как-то утром, в девять часов, мама позвала меня к телефону. И, обычно не отличавшаяся проницательностью слуха, неожиданно добавила:

— Какой-то военный голос.

— Елена Моисеевна? Это Жуков говорит.— Голос насыщенный, но без военной аффектации.

Это простое «Жуков», не подкрепленное званием, рискующее смешаться со множеством непрославленных однофамильцев, подкупало.

— Здравствуйте, Георгий Константинович,— сказала я в тревоге, правильно ли называю его имя-отчество, ведь никогда не приходилось,— очень приятно слышать вас.

Он сказал, что ему хотелось бы встретиться.

— Вы как?

Я — утвердительно. Он с полувопросом:

— Когда?

Я повторила за ним:

— Когда?

— Вы можете завтра в шестнадцать часов?

Я не расслышала отчетливо.

— В четыре часа,— повторил он, снисходя к невоенному собеседнику.

— Могу.

И стал записывать мой адрес.

Я попробовала объяснить: дом за железной оградой.

— Найдут! — остановил он.— Запишите в своем блокноте: завтра в шестнадцать часов.

Было 1 ноября 1965 года.

Этому звонку предшествовало вот что. Той же осенью, за полтора месяца до того, вечером позвонила по телефону незнакомая женщина — редактор АПН Миркина. Она сказала, что звонит по просьбе маршала Жукова, прочитавшего мою книгу и просившего узнать,

не соглашусь ли я встретиться с ним в связи с его работой над воспоминаниями. Миркина сказала, что Жуков заканчивает мемуары, которые у него уже заранее приобретает АПН.

Я замешкалась. Ответила утвердительно, но объяснила, что завтра утром уезжаю на две недели в Переделкино, в Дом творчества. Мы простились. Моя собеседница называла маршала Жукова великим. В те годы о нем повышенно не говорили.

Находившийся у меня в тот вечер брат, узнав, о чем был разговор, обрушился на меня:

— При чем тут Переделкино?! Ты что! Иметь возможность увидеть Жукова. Какой может быть отъезд?!

Через две недели я вернулась из Переделкина. Повторно никто от Жукова не звонил. Но вот спустя еще месяц, когда я считала, что отложенная мной встреча не состоится, он позвонил.

Вечером я связалась по телефону с Миркиной, свой номер она продиктовала мне при первом разговоре, — сообщила, что завтра еду к Жукову.

Услышав, что я собираюсь поехать вместе с известным писателем, стремившимся увидеть маршала, она вне себя заговорила:

— Это невозможно! При всем моем глубочайшем уважении к нему — это невозможно! Поймите, это очень серьезно. Жуков травмирован, ни с кем не встречается. Для него каждый новый человек — это сотрясение. Поймите же... Это пожилой человек, ему 69 лет. Он своенравный человек.

2

Примерно за двадцать минут до назначенного времени зазвонил телефон. Приятный женский голос:

— Я по поручению Георгия Константиновича. Машина будет у вас через пятнадцать минут. Номер машины 34-27.

Когда я спустилась, большая черная, непривычного вида машина с желтой фарой под радиатором стояла у тротуара за оградой нашего дома.

Шофер, увидев меня, направлявшуюся к машине, открыл дверцу и выглянул.

— А наши пошли вас разыскивать.

Тут же подошли те, кого он назвал «наши», — ма-

ленькая девочка и пожилая женщина с мягким, округлым лицом, очень скромно одетая — в темном демисезонном пальто, в цветном шерстяном платочке, покрывавшем голову.

Мы поздоровались за руку, женщина назвалась: Клавдия Евгеньевна — и представила девочку.

— А это дочь Георгия Константиновича — Маша.

Я протянула девочке руку, подавив минутное чувство неловкости, — ее легче было счесть за внучку.

Старый черный «ЗИС» («На таком же Сталин ездил», — сказал мне на обратном пути шофер) тронулся. В его изношенном нутре заскреблись, побряхтывая, поколачиваясь, старого пробега километры. И я почувствовала, что еду сейчас не только вдоль по Ленинградскому проспекту к кольцевой дороге, но и в глубь прошлого, в обратном отсчете времени.

Я приглядывалась к своим спутникам. Ни в ком из троих — ни малейшей черты, говорящей о близости к знаменитому человеку.

Шофер, рядом с которым я сидела, был малоросл, этакий мужичок с ноготок. В потертом синем пальто. С притянутой к плечам головой, покрытой выношенной фетровой шляпой светло-песочного цвета с тоненькой ленточкой по тулье, с большими неотогнутыми полями, края их местами обветшало повисли. О былой принадлежности к армии свидетельствовали только штатского покроя брюки, сшитые из синей офицерской диагонали. На педали стоял разбитый черный полуботинок. Ничего в облике водителя не свидетельствовало и о его принадлежности к столичной шоферской молодцеватой братии. И эта шляпа, какую вообще едва ли на ком в Москве увидишь. Он был приглушен — ни самоуверенности, ни темперамента, присущих людям его профессии, — сосредоточенный и чем-то трогательный. Походил на мастерового или просто человека не у дел. Так вроде оно и есть: то возил министра обороны, а то преимущественно его жену с дачи на службу да дочь в школу и «на музыку».

Девочка яснолицая, сероглазая, имя Маша очень пристало ей. Заметны ее сменившиеся спереди зубы, крупные, словно даны на вырост.

Маша учится во втором классе спецшколы с английским языком на Кутузовском проспекте. От дачи всего 25 минут езды.

— А все же воздух,— сказала женщина в пользу жизни на даче.

Одета Маша скромно и не без изящества: в розовом шерстяном гномике на голове, в неяркую клеточку синем пальто с низким хлястиком и синих рейтузах. Маша возвращалась из музыкальной школы. Женщина спрашивала ее про отметки за первую четверть, представленные в таблице. Фортепьяно — 4 и сольфеджио — 4.

— Почему так?

— Так. И у всех так,— непринужденно отвечала Маша.

В обращении с ней женщины присутствовала какая-то незримая дистанция, и я подумала, что женщина, по-видимому, воспитательница, тогда как на самом деле это была теща Жукова. Но Маша для нее — «дочь Георгия Константиновича» и уж потом лишь и ее внучка также.

Скромное, симпатичное близкое окружение маршала Жукова — никакой авантажности — приятно удивило меня, невесть что ожидавшую встретить.

В этой необременительной компании я приближалась к цели поездки.

В войну мне видеть Жукова не случилось. Я была переводчиком в штабе армии, входившей в состав фронта, 1-го Белорусского, которым он командовал. И тогда, а в большей степени после войны, я не раз слышала о том, что он был жесток, крут, не берег людей, и эмоциональная окраска моего к нему отношения была сложной. Такой она была и по дороге, в машине.

Впоследствии я прочитала такие его строки: «Меня упрекали в излишней требовательности, которую я считал непрямым качеством командира-большевика. Оглядываясь назад, думаю, что иногда я действительно был излишне требователен и не всегда сдержан и терпим к поступкам своих подчиненных...

Конечно, сейчас эти ошибки стали виднее, жизненный опыт многому учит».

Машина шла по кольцевой. Мы оставили позади указатель на Рублево и вскоре съехали, ответвились в лес.

Теперь мы двигались по неширокой асфальтированной просеке, прорезавшей лиственный редкий лес. Было сухо и довольно тепло. По обочинам — тонкоствольные березы. За березами слева от нас шла лесом молодая пара. Присутствия охраны не ощущалось. Шофер сигнализировал ехавшему впереди на велосипеде милиционеру, и тот посторонился. Больше — ни транспорта, ни пешеходов.

Дача Жукова неподалеку от кольцевой дороги, и мы напрямиком уткнулись в деревянные зеленые ворота. Шофер вышел из машины открыть их. На воротах странным образом никого — ни сторожа, ни охраны.

Маша, расшалившаяся в конце пути, хотела вылезти из машины, побежать, но женщина удержала ее.

Мы въехали на территорию дачи мимо пустой сторожки. Шофер еще раз вышел — закрыть за нами ворота. Рядом со сторожкой — служебное двухэтажное помещение, предназначенное для охраны; как объяснил мне на обратном пути шофер, оно тоже пусто. Слева, за деревянной фигурной оградой, начинался оголившийся осенний плодовый сад.

Я было наострилась глядеть в оба по сторонам, но тут произошла у меня заминка. Еще при въезде в ворота отскочила большая пуговица от моего пальто. Сейчас я нагнулась за ней, нашарила, а когда разогнулась, увидела впереди перед домом на асфальтированной дорожке Жукова.

— Папа,— сказала Маша.

3

Расстояние от ворот до дома совсем не велико. Машина тихо ползла к нему. По сторонам я уже не смотрела — впереди была черная спина Жукова в кожаном пальто. Поджидая нас, он молодежничаво, легко прохаживался, удаляясь сейчас от дома, не слыша шороха шин. Но вот обернулся. Машина стала у ступеней, ведущих в дом, и девочка выскочила первой. Я тоже вышла из машины. Жуков приветливо шел мне навстречу, поздоровался, сказал:

— Вот ведь не довелось тогда встретиться,— имея в виду 1-й Белорусский фронт, Берлин.

Я сказала, что от меня до него дистанция была

большая, и опустила в карман пуговицу от пальто.

Предстань я там перед ним без пуговицы на шинели, вышла бы я из того знакомства вполне расквашенной.

Мы поднимались по пологим ступеням. По фасад у двухэтажного дома у главного входа — колоннада, из тех, что уже тогда сочли архитектурным излишеством. Но ведь с того момента, как я села в старую, одряхлевшую черную машину, я оказалась в материальном мире, предшествовавшем этой точке зрения.

Многостворчатые застекленные двери впустили нас в прихожую. Слева была лестница, ведущая на второй этаж, справа — вешалка.

Жуков помог мне раздеться и, заметив, что я проследила за Машей — та быстренько скинула пальто и подошла к зеркалу, — спросил: «Может, вам зеркало нужно?» «Да, — сказала я, стараясь держаться независимо. — Небольшой марафет». И тоже вслед за Машей погляделась в зеркало.

Прихожая, метра в три шириной, была с обеих сторон замкнута стеклянными дверьми — наружными, сквозь которые мы вошли, и внутренними, за ними растилалось нечто грандиозное — зал, торжественно залитый ярким светом хрустальной люстры, хотя еще хватало дневного света.

Мы вошли в зал.

— Ну, куда сядем? — спросил Жуков. — Вот сюда, — и показал направо, где возле красивого широкого окна, начинающегося низко от пола, стояли круглый полированный стол и два мягких кресла. На столе лежал «Военно-исторический журнал».

— Василевский прислал мне свою статью, — сказал Жуков, указав на журнал. Позже в разговоре он похвалил его статьи за то, что в них достается одному видному военному, недобросовестно излагавшему события.

В первый же миг встречи, увидев вблизи Жукова, я испытала недоумение: куда девался знаменитый подбородок, тяжелый, волевой, беспощадный, представленный на фотографиях. Да и полгода назад, когда он в дни двадцатилетия Победы впервые за долгое время вышел на люди и присутствовал на банкете в Центральном Доме литераторов, я издали увидела его, живого, и тогда его облик для меня ничем не разнился с фотографиями. А сейчас будто абберация зрения — лишь

неправильный прикус и подбородок немного выдается вперед.

Увидеть маршала Жукова в штатском костюме было странным, совсем неожиданным. С этим тоже надо было освоиться. Он сросся в нашем представлении с военной формой.

В коричневого тона костюме в неяркую зеленовато-синюю клетку как-то непривычно обыденно представляла его тучная фигура. Мягкий воротник застегнутой на пуговики коричневатой рубашки без галстука не стягивал, оставлял на свободе уже разрыхленную с годами широкую шею, которую тугой ворот военной формы собирал в упористый, волевой постамент медального лица. Теперь при отсутствии этого упора лицо, казалось, поутратило твердые очертания.

Но определенная крепость в лице все же есть. Ей способствует и молодящая короткая стрижка седых волос. Глаза — не маленькие, не большие — внимательны. Черты лица малоподвижны, их как бы фиксирует, ограничивая мимику, неправильный прикус, и отчасти из-за него лицо черство.

Тем неожиданнее улыбка, искренняя, располагающая, молодая.

То, что маршал Жуков был в штатском, сообщало нашей встрече частный характер. Но она проходила в зале, где отделиться целиком от официальности было посетителю непросто. По архитектурному замыслу это парадный, официальный зал, с красивыми, просторными окнами, приблизившими вплотную сад. Здесь все было колоссальным: стол, повернутый к входным дверям торцом и протянувшийся в глубь зала по центру его. Выпуклый буфет, вписанный в широченную нишу по противоположной окнам стене; размах ковра.

Все здесь было из тех давних дней, когда мы победили. Мода последующих лет сюда не проникла.

Над дубовыми панелями стен — делового вида плафоны. По-казенному простые стулья расставлены вдоль стен. Они могут быть придвинуты к столу для банкета или заседания. Похоже, что зал обставлен не лично им, а управлением, которому принадлежит дача, и, кажется, шевельнешься в кресле — звякнет исподтишка инвентарный номер. Личные житейские контакты с залом минимальны, они едва вкраплены хотя бы этой вазой с мелкими яблоками, стоящей на неохватном

столе, застеленном белой накрахмаленной скатертью.

Когда мы еще только поднимались по ступеням дома, вышагнул шофер, отбил честь вскинутой к виску ладошкой и из-под своей шляпы обратился глухо:

— Товарищ маршал! — и протянул Жукову конверт.

Теперь в зале Жуков раскрыл конверт, вынул фотографию, заинтересованно рассмотрел ее.

— Это я просил, чтоб мне передали. Вот это — я, — протянул мне ее.

Шофер по его поручению доставил ему от кого-то из родственников эту давнюю фотографию. На ней два парня в старомодных костюмах. Один сидит, он снят в профиль, у него густые волосы, расчесанные на косой пробор, из нагрудного кармана темного пиджака высунут платочек.

— Узнаете? — спросил Жуков.

Успев заметить, что у сидящего парня имеется выступающий вперед подбородок, я ответила утвердительно. Но перевела взгляд на второго парня, того, что стоит, и у этого, рабочего с виду парня, оказался такой же подбородок лопаткой. Тут уж я сбилась, кто же из двоих Жуков. Но и уточнять не стала.

— Это я с двоюродным братом. — То-то фамильные у обоих подбородки. — В Москве снялись. Это я только вернулся с империалистической войны. Я ведь москвич.

На обороте фотографии помечено: «1917 г.».

Жуков протянул фотографию вертевшейся здесь дочке:

— Узнаешь? — и искренне удивился, что она не узнает его. — Да вот же я. — Словно и полвека почти что спустя его можно было признать в этом парне.

У него была одна-единственная фотография, где он совсем молодой, сказал он. Ее взял Вайль (кажется, так он назвал того, о ком говорил), чтобы сделать портрет. Но Вайля арестовали и все, что было у него, забрали.

— А ведь интересно взглянуть, каким ты был.

Он неравнодушен к фотографиям, запечатлевшим его молодым, и к более поздним портретам, на которых он все же относительно молод. И это чувство всякий раз прорывалось в нем, если возникал хотя бы отдаленный повод.

Так потом, рассказывая о попавшем ему в руки не-

мецком досье на командование Красной Армии, где, как он сказал, об Уборевиче и других в заключение сказано: арестован, уничтожен,— было прослежено все его, Жукова, прохождение по службе, и там был его портрет.

— Замечательный портрет,— с чувством сказал он.— Где только они такой взяли¹.

И даже когда разговор зашел о его назначении командующим Западным фронтом, о подмосковном сражении и я ему, отторгнутому в те годы от его славы, сказала, что, просматривая недавно в Ленинке газеты сорок первого года, увидела: под его портретом, напечатанным в связи с победой в декабре, кто-то из читателей вывел чернилами крупными печатными буквами: «Наша слава и совесть»,— Жуков живо на это отреагировал:

— Я там молодой.

— Да там все на портретах молодые — Рокоссовский, Лелюшенко...

Это был комплекс неистраченного, остановленного на бегу еще во всесильности человека, отброшенного в тягчайшее, в бездеятельное существование, которому сейчас, когда он рассчитывает вернуться к деятельной жизни, так нужны были те ушедшие годы.

На протяжении всего нашего разговора человечно проступало в Жукове чувство утраты молодости. Обостренное, должно быть, молодостью жены и малолетством дочери.

Потом все же с живой улыбкой переспросил, повеселев:

— И так, значит, это там и лежит? — насчет газеты

¹ Об этом досье Геббельс — в это время он комиссар обороны Берлина — записал в дневнике 18 марта 1945 г.: «Мне представлено генштабом дело, содержащее биографии и портреты советских генералов и маршалов...» Забыв о своих небрежных, наглых суждениях 41-го года, он ошеломленно пытается за полтора месяца до падения Берлина найти объяснение победному натиску советских войск: «Эти маршалы и генералы почти все не старше 50 лет. С богатой политико-революционной деятельностью за плечами, убежденные большевики, исключительно энергичные люди, и по их лицам видно, что они народного корня... Словом, приходится прийти к неприятному убеждению, что военное руководство Советского Союза состоит из лучших, чем наше, классов...»

В этой записи — отголоски испытываемого им почтения перед силой победителя и проклятий в адрес своих отступающих генералов, которых он вслед за Гитлером называет «изменниками».

с этой подписью под его фотографией в декабрьской подшивке сорок первого года в Ленинке.

Он написал в своей книге: «Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: битва за Москву».

Улыбаясь, он молодец. Улыбка словно выявляла что-то сохранившееся в нем внутри, симпатичное. И он становился совсем не похожим на официального маршала Жукова, каким был на банкете в Доме литераторов — во всех регалиях на мундире, сшитом, как говорили, специально к этому дню двадцатилетия Победы, — своему первому спустя годы выходу в публичные собрания.

Может показаться, что я пишу излишне подробно, что о крупной личности надо писать только значительное. Но о Жукове-военачальнике, о его делах и стратегических планах, об осуществленных знаменитых сражениях напишут, и не раз, люди компетентные. Мне же хочется рассказать о встрече с ним с подробностями, без которых нет живого облика.

— На музыке была? — спросил он присевшую чуть в стороне дочь.

Ответив утвердительно, она мигом смоталась за табелем и подала ему. Держа перед глазами табель, он надел очки в тонкой оправе и искренне огорчился, увидя «четверки».

Но Маша, присев на кресло, стоящее немного позади него, нисколько не тушуясь, сказала невозмутимо:

— Так у всех.

— Только по поведению «пять», но в этом я не сомневался, — в глубокой сосредоточенности произнес он.

Он счел нужным объяснить мне, что у учительницы такой подход, она не ставит сразу «пятерки», чтобы ученики старались.

— Это отчасти и правильно, — сказал он. Вместе с тем было видно, что он досадовал: ему всерьез очень важны Машины успехи в музыкальной школе и к тому же он задет тем, что я оказалась свидетельницей ее скромных достижений.

«Я всегда завидовал хорошей игре на баяне», — при-

знавался он в своей книге. Но его детство было беспощадно суровым.

Я знакома с той учительницей Маши. Она рассказывала, что Жуков обычно присутствовал на зачетных вечерах в музыкальной школе. Сидел, слушал, переживал за Машу.

Машу позвали.

— Иди обедай,— сказал он.

Маша взяла у него табель и, проходя мимо громадного стола, живенько положила табель на скатерть, придавив его пустой вазочкой для цветов, вытянутой и узкой,— у моей мамы была точно такая же — изделие 30-х годов.

Так удивительно было, как непосредственно, привычно движется она по величавому залу, в своей ловкой синей в складку юбчонке, в синем джемпере, отделанном белой шерстью по стоечке ворота.

Маленькая, она была тут не в масштабе и подчеркивала огромность стола, буфета, ковра. Но ее фамильярное обращение с этими предметами проясняло: зал со всем, что в нем,— столовая семьи. И значит, подпотолочная хрустальная люстра, предназначенная на весь зал светить торжествам и празднествам, люто льет свысока свет на интимную семейную трапезу за гигантским столом, на белую необъятную скатерть.

Маша куда-то юркнула.

Маршалу Жукову предстояло перейти к сути и цели нашей встречи. Я заметила, что он внимательно рассматривает меня. В образовавшейся небольшой паузе вдруг послышалось урчание воды, плеск — живые, непредвиденные звуки. Это напротив нас в проеме между буфетом и торцовой стеной зала, уводящем, по-видимому, в кухню, в глубине видна была белая раковина, и Маша, пустив воду, мыла над ней руки.

4

Жуков сказал, что прочитал мою книгу¹. В ней я рассказала о том, как в дни падения Берлина нашими войсками был обнаружен покончивший с собой Гитлер

¹ Он называл книгой ротаторный экземпляр рукописи, предоставленный ему АПН, заключившего со мной договор на право издания ее за рубежом. Моя книга «Берлин, май 1945» у нас тогда еще не вышла, была только журнальная публикация в «Знамени».

и проведено расследование обстоятельств его самоубийства и опознание его. Я принимала в этом участие как военный переводчик.

— Книга мне понравилась. Но увидеться — это что-то все же еще...

Мы поговорили о берлинских событиях, об имперской канцелярии, бегло коснулись других общих для нас тем и воспоминаний. Расспросил он меня о моей службе в армии.

— Я тоже пишу. Дошел до Берлина сейчас. Вот и захотелось с вами повидаться.

Устанавливался доверительный тон, и понемногу разговор приближался к главному.

(Мне не приходится по памяти реставрировать подробности этой встречи, они записаны мной тогда же. И также все, что привожу из сказанного тогда Жуковым.)

Маршал Жуков сказал:

— Я не знал, что Гитлер был обнаружен. Но вот я прочитал об этом у вас и поверил. Хотя ссылок на архивы и нет, как принято делать. Но я верю вам, вашей писательской совести. Я пишу воспоминания, — повторил он. — И сейчас как раз дошел в них до Берлина. И вот я должен решить, как мне об этом написать, — он говорил неторопливо, однотонно, раздумчиво. — Я этого не знал. Если я об этом так и напишу, что не знал, это будет воспринято так, что Гитлер найден не был. Но в политическом отношении это будет неправильно. Это будет на руку нацистам.

Помолчав, он сказал:

— Как это могло случиться, что я этого не знал?

Он хотел это уяснить с моей помощью. Это был его главный вопрос ко мне. Мне бы следовало предвидеть, что такой вопрос возникнет. Но по дороге к маршалу Жукову я почему-то не думала об этом.

В самом деле, как это могло случиться, что командующий войсками, штурмовавшими Берлин, не знал, что его воины, овладев имперской канцелярией, в подполье которой находился Гитлер с остатками своего штаба, нашли Гитлера, покончившего с собой? Такой важный и престижный факт для полководца, приведшего свои войска в Берлин.

Он вправе был спросить и так: как смели не доложить ему об этом? Было с чего впасть не то что в недо-

умение, а в самый яростный гнев, если б знать, кому адресовать его, и если б многое другое в предшествующие нашей встрече годы не было бы его гневу ближе и существеннее. И он всего лишь спросил: как могло так случиться?

Я знала, что все, связанное с обнаружением и опознанием трупа Гитлера в те майские дни, держалось в строгом секрете и докладывалось прямо Сталину — по его распоряжению, — минуя командование фронтом, то есть маршала Жукова. Почему было так, это мог бы разъяснить только Сталин.

— Не может быть, чтобы Сталин знал, — решительно отверг Жуков. — Я был очень близок со Сталиным. Он меня спрашивал: где же Гитлер?

— Спрашивал? Когда?

— В июле, числа девятого или одиннадцатого.

— К этому времени Сталин уже давно все знал, провел проверку и удостоверился.

— Но ведь он меня спрашивал: где же Гитлер?

— Очевидно, не хотел дать понять, что знает.

— Зачем?

Было около пяти часов, 2 ноября 1965 года. Горели яркая люстра и плафоны по стенам. За окном был сад, потемневшие стволы деревьев, оголенные ветки, на них кое-где уцелевшие, свернувшиеся черные листья, похожие на птенцов. Мы сидели в удобных, мягких креслах, разделенные небольшим круглым столом, — заместитель Сталина, герой знаменитых боев, прославленный полководец, принимавший капитуляцию Германии в Берлине и на Красной площади в Москве — победный парад наших войск верхом на белом коне, и рядовая военная переводчица, причастная к тому, о чем он должен был знать более двадцати лет назад.

Могла ли я думать, что когда-либо вот так предстану перед ним. И не невероятна ли сама ситуация?

Маршал Жуков спросил меня: «Зачем?»

Зачем было скрывать от него. Может, решив не оглашать этот факт, Сталин никого не посвящал в него, не делился. Более полный ответ, вероятно, коренился также и в сложности, нестабильности отношений двух людей; в них Жуков представал с органичной ему прямоотой, ценившейся, куда шла война. Естественно, в это я не входила и не располагала исчерпывающим ответом, почему вообще такое решение — не огла-

шать — принял Сталин. Сейчас я уясняю себе несколько отчетливее. Но это отдельная тема. Тогда я высказала лишь предположения. Одно Жуков сразу отвел, на другое не возразил, в нем виделся ему определенный смысл. Но как могла быть скрыта от него правда? Ему трудно было постичь такую несообразность.

— Если это шло по линии НКВД, так ведь Берия был при этом разговоре со Сталиным. Он молчал, — сказал Жуков, искренне полагая, что, раз молчал, значит, не был осведомлен.

И мне в этот момент не вспомнилось, что в архиве есть документ, устанавливающий, что Берия знал. Пересматривая через несколько дней документы, я снова нашла на него: это подробная записка по ВЧ, адресованная Берии 23 мая того же сорок пятого года, когда закончившееся расследование вновь шаг за шагом перепроверил присланный Сталиным генерал.

— И Серов ведь находился там, в Берлине. Он и сейчас живет со мной в одном доме на Грановского. Я его спрашивал. Он не знает.

И генерал Серов — в то время, в мае, заместитель Берии — знал если не тогда же, то несколько позже. Об этом свидетельствуют документы. А для Жукова это продолжало оставаться тайной.

Я не останавливаюсь здесь на том, как все было тогда в мае и как осуществлялась информация «наверх». Это требует подробного освещения и увело бы от встречи с Жуковым. Все же я могла бы тогда в разговоре помочь Георгию Константиновичу кое-что уяснить. Возможно, он в этом нуждался. Но наш разговор принял вдруг неожиданный оборот.

— Я хотел вас попросить, — сказал маршал Жуков все тем же равномерным, но не столь уж раздумчивым тоном, — кое в чем тут помочь мне. — И с упором, веско: — Ведь от того, как я напишу, зависит судьба вашей книги.

Он откинулся в кресле, нога на ногу. И тут вдруг появился тяжелый, угрожающий подбородок.

— Если я напишу, что мне об этом неизвестно, вам не поверят.

Он сказал это жестче, чем мне удастся передать здесь. Потому что не в словах лишь дело, но и в том, как они произнесены, и в его позе, и в этом внезапно отяжелевшем подбородке. Не попросить (хотя и произне-

сено подобное слово), а заставить, не обратиться, а вынудить выполнять, и тем рьянее, раз под угрозой.

Образовалась натянутая пауза. Выждав ее, Жуков спросил:

— У вас есть выписки документов? Остались?

— В той мере, в какой я их использовала,— сухо сказала я, замкнувшись. Во мне ожило предубеждение.

— А больше не осталось?

— Кое-что из дневников Геббельса.

— А фотографии?

— У меня нет. Есть в моей книге — в итальянском издании.

Опубликованные его не интересовали.

То, с чем он обратился ко мне, было предельно скромным. Он встретил бы мою полную готовность ему содействовать. Но тут что-то во мне застопорилось. Установившаяся было доверительность нарушилась, и разговор продвигался туго. Мне претило словно бы из страха за свою книгу в чем-то помогать ему. К этому времени моя книга была уже переведена во многих странах и обнародованные в ней факты признаны бесспорными. Но сказала я только о том, что главные свидетели опознания — зубной техник Гитлера и ассистентка его зубного врача — показали под присягой суду в ФРГ, что опознали Гитлера по зубам,— то есть именно то, что написано в этой части мной,— и подтвердили тем самым, что Гитлер был нами обнаружен. Эти показания, фотография под присягой, их воспоминания — все эти материалы опубликованы на Западе.

— Мало ли что они там напишут,— буркнул Жуков.

Но вслед за тем он повторил, что полностью поверил, прочитав мою книгу. И что Гитлер был найден, он не сомневается. Но его смущало другое. Он откровенно поделился, что оказался теперь в сложном, как он выразился, положении. После победы в Берлине на пресс-конференции советских и иностранных корреспондентов он, отвечая на вопрос, сказал, что о Гитлере нам ничего не известно, как оно и было для него в то время. А теперь, подтвердив, что Гитлер был тогда найден, он окажется в ложном положении. Это его беспокоило.

Забегая вперед, скажу, что через какое-то время, а точнее, в феврале 1966 года, мне позвонила редактор Миркина и сообщила, что Георгий Константинович закончил мемуары, и зачитала из его рукописи то место,

где, упомянув о Гитлере, он отсылает читателей к моей книге, как бы солидаризируясь с ее положениями. Такое его решение было щедро, потому что оно не устраняло того, что его смущало. Кроме того, наш разговор в этой части, как я уже рассказала, сковало натянутостью, я замкнулась и от этого могла проигрывать в убедительности.

Эти его строки предназначались для зарубежного издания, опережавшего издание на русском языке, и, судя по отголоскам иностранной прессы, первоначально оставались в тексте. В издании для советского читателя они не сохранились: кратко изложив суть дела, Жуков пишет: «Я убедился, что для сомнений в самоубийстве Гитлера оснований нет».

5

Жуков не курил, я тоже. И разрядки в нашем нелегком разговоре ждать было неоткуда, если б не Маша. Она появилась опять — забежала из сада, не сняв пальто, притащив на руках болонку. Присела у нашего стола, пододвинув поближе стул, и, положив болонку на колени, тискала ее.

— Прекрати, — сказал Жуков.

Она оставила его приказ без внимания. Мы продолжали разговаривать. Жуков опять велел Маше перестать.

— Ты видишь, какая она грязная.

Белая, маленькая, длинношерстная, лохматенькая собачонка была очень грязной, в особенности лапы и брюхо. Но Маша и не думала слушаться. Повалив собаку на спину, она то зажимала пальцами ее ноздри, то хватала одну, другую лохматую лапу и перебирала ее грязные когти.

Отец повторял, чтобы она оставила собаку, но Маша со всей невозмутимостью продолжала свое.

А он, перед которым трепетали все — и свои, и враги (я помню захваченную у немцев неотправленную почту, и в солдатских письмах — судорожные прощания навсегда с родными, потому что в немецких частях стало известно, что здесь на нашем фронте появился Жуков, — еще не было и середины войны), он, которому беспрекословно подчинялись все и вся, от генерала до солдата, он, с его ореолом жестокости и стальной воли,

бессилен был востребовать послушания от восьмилетней девочки. Воистину это оказалось посложнее, чем приводить к повиновению многомиллионное войско¹.

Он говорил с ней серьезно и ровно, без затаенной умильности, не было в голосе и наставляющей отцовской интонации или, что возможно при такой возрастной дистанции, дедовской слабости, говорил без раздражения и без улыбки, но и без властности, как с равной.

Дочка не испытывала ни малейшей опаски. Но и не было ничего вызывающего в ее манере вести себя, ничего строптивного или даже просто избалованности. Было другое. Она свободна, неподчиненна, естественна. И резва. И, несомненно, своим остреньким детским инстинктом давно ущучила его, Жукова, от нее зависимость.

Вскоре после рождения дочки его деятельность была внезапно остановлена, и единственным живым течением времени стало маленькое существо, набиравшее жизнь. Жена уезжала на работу в кипучий город, он оставался здесь. Можно себе представить, и это не будет преувеличением, что он растил в своем уединении эту позднюю дочку, улавливал живительный росток ее жизни. Дочка помогла ему, сама того не зная. Она главный человек в его нынешнем микрогарнизоне, прежде необозримом.

Маша еще некоторое время посидела, все так же возясь с собачонкой, и потом ушла.

— А этого документа моего — Сталину у вас нет? — спросил Жуков.

Еще в самом начале нашего разговора я говорила, что в архиве есть документ с сообщением об обнаружении мертвого Геббельса и его семьи, посланный Сталину за подписью маршала Жукова и члена Военного совета фронта генерала Телегина.

— Этот есть, хотя не ручаюсь, что полностью.

¹ Генерал М. А. Мильштейн — он был в штабе Жукова в период битвы за Москву замнач разведотдела — недавно рассказал мне: штаб стоял в Перхушкове, Г. К. Жуков занимал отдельный дом, окруженный несколькими цепями охраны. Отправляясь на ежевечерний доклад, подходя к этому дому, Мильштейн, случалось, чуть ли не готов был на окрик часового «Пропуск!», менявшийся несколько раз в сутки, ответить неверно — пусть стреляет. Вот так, аж тяжелее смерти было иной раз войти в этот дом — такой страх нагонял Жуков, ценивший Мильштейна.

Все еще задетая тоном, с каким он до того приступил к делу, я отвечала сжато, неохотно. Пишу об этом сейчас, помня, что не была чутка, не охватывала тогда в полной мере ситуацию. Такую непростую, ненормальную. Маршал Жуков обращался ко мне за нужными ему для работы документами, не располагая ими, хотя под иными из них стояла его подпись. Такое могло ранить даже не очень чувствительного самолюбия человека. Но тут Жуков держался просто, естественно. Расспрашивал об архивах, в которых я работала. Я рассказывала. Кажется, забыла сказать, что ссылок на архивы в моей книге нет, потому что документы не были рассекречены. Об одном архиве он отозвался по каким-то более давним впечатлениям:

— Там дела серьезные, существенные. И некоторые дела любопытны... пикантные,— добавил с улыбкой, так освежающей, молодящей его лицо.

Он снова спрашивал обо мне, о службе в армии.

— Я там был, в имперской канцелярии. В саду. В день, когда ее взяли. А второй раз 4 мая. Вниз туда меня не пустили,— сказал с прямою, выгодно отличавшей его от иных авторов мемуаров.— Там внизу было небезопасно.

Да, в подземелье то и дело раздавались одиночные выстрелы.

— Я видел в саду этот круглый, как его...

— Гитлеровский бункер?

— Его.

— Вам, вероятно, тогда и доложили, что около него найдены Геббельс с женой. Я сужу по подписанному вами сообщению Сталину об этом.

Он помнит, что о Геббельсе ему докладывали.

— Мне доложили, кажется, второго мая или первого, что сколько-то танков прорвалось из берлинского кольца в таком-то направлении. Я приказал преследовать. Я полагал, что Гитлер мог уйти на этих танках¹.

Помнит он еще, что ему через несколько дней докладывали о найденной челюсти Гитлера.

Я сказала, что это искаженные отголоски того, что

¹ В своей книге, рассказывая об этом, Жуков писал: «На рассвете 2 мая группа танков была обнаружена в 15 километрах северо-западнее Берлина. Часть машин сгорела, часть была разбита. Среди погибших экипажей никто из главарей гитлеровцев обнаружен не был».

было на самом деле. Не было отдельно найденной челюсти. Это судебно-медицинская экспертиза установила при анатомировании Гитлера, что основной анатомической находкой для идентификации личности являются сохранившиеся челюсти, и опознание по этому пути также.

Люди, к нему причастные, выполняли задание с чувством огромной ответственности, понимая, что всякая неясность насчет смерти Гитлера вредна. Она будет лишь способствовать его намерению — бесследно исчезнуть, превратиться в миф и тем будоражить приверженцев фюрера, активизировать их. И наш народ, отдавший все для победы над фашизмом, был вправе узнать, что поставлена последняя точка в войне. Ведь фашизм в первую очередь персонифицировался в Гитлере.

— Мы, во всяком случае, очень ждали тогда официального сообщения. А кое-кто надеялся даже на представление к Герою, как было обещано комендантом Берлина генералом Берзариным тому, кто найдет Гитлера.

— Героя не за что было давать, — буркнул Георгий Константинович.

Это справедливо. Не под огнем шли розыски, никто не жертвовал собой. Было везение и, больше того, серьезнейшая удача и стремление немногих лиц добиться исчерпывающих доказательств при расследовании. И нам удалось это осуществить. Но обнаружение Гитлера было превращено распоряжением Главнокомандующего в непроницаемую тайну. И я смогла лишь многие годы спустя эту «тайну века» сделать достоянием гласности на страницах «Знамени».

А тогда, в майские дни, газеты оккупационных войск союзников вышли с шапками: «Русские нашли труп Гитлера», «Героические поиски в развалинах горящего Берлина увенчались успехом». Но, не встретив в нашей печати подтверждения, они смолкли, быть может, посчитав, что были введены в заблуждение своими информаторами.

Я говорю: тогда было ощущение, что командование фронтом не проявляет сколько-нибудь пристальной заинтересованности поисками Гитлера. Жуков не возразил. Косвенно он сам подтвердил это, сказав о том, что ему доложили о «найденной челюсти». Почему-то

это не побудило его потребовать, чтобы ему доложили обо всем со всей полнотой.

Когда в осажденном Берлине в ночь на 1 мая явился парламентар — начальник генштаба сухопутных войск вермахта генерал Кребс с просьбой о перемирии и с письменным сообщением Геббельса о самоубийстве Гитлера и об этом было доложено маршалу Жукову, он позвонил Сталину. В своей книге он передал состоявшийся разговор:

«Я доложил полученное сообщение о самоубийстве Гитлера... Спросил его указаний.

И. В. Сталин ответил:

— Доигрался, подлец. Жаль, что не удалось взять его живым. Где труп Гитлера?

— По сообщению генерала Кребса, труп Гитлера сожжен на костре.

— Передайте Соколовскому, — сказал Верховный, — никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Кребсом, ни с другими гитлеровцами не вести. Если ничего не будет чрезвычайного, не звоните до утра, — хочу немного отдохнуть. Сегодня у нас Первомайский парад».

Указаний о расследовании обстоятельств самоубийства Гитлера, о получении в том подтверждения не последовало. Не было их и в дальнейшем. И только после того, как все было закончено, главные участники опознания — немцы и «вещественные доказательства» были отправлены в Москву, Верховный Главнокомандующий спросил маршала Жукова: где же Гитлер? Ответом Жуков не располагал. Если бы к нему этот вопрос был обращен ранее, само собой, маршал Жуков затребовал бы данные от всех входящих в состав его войск служб и был бы в курсе происходящего. Но поскольку вопросы не последовали, он мог ошибочно полагать, что Верховный Главнокомандующий удовлетворен его первым сообщением о самоубийстве Гитлера, и на этом — точка. В газетах наших в то время стали появляться сообщения ТАСС о том, что Гитлер не то высадился в женском платье в Аргентине, не то скрывается у Франко. Вопрос о том, жив ли Гитлер или покончил с собой, а уж тем более — найден ли, переместился из армии в сферы большой политики, и Жуков мог и намеренно отстраниться — не его компетенция. Тем более что в мае маршал Жуков был слишком

загружен всем объемом свалившихся на него в новой совсем ситуации чрезвычайных дел, многие из них были непривычны. Шла колоссальная перестройка всей работы. Ведь он был не только Главкомом советских оккупационных войск, но главнокомандующим советской военной администрации. Он должен был охватить все сферы: от дипломатической, военной, политической до хозяйственной. Словом, вступал в права новый день с новыми сложными проблемами и заботами, задвигая поверженного Гитлера в день «вчерашний».

Так примерно я себе это представляю.

Информация о проводимом расследовании шла прямо Сталину. Я могла объяснить, как именно это происходило.

— При любых обстоятельствах я должен был знать об этом, — остановил Жуков. — Ведь я был заместителем Сталина.

Но он сам описал в книге, что так бывало: например, перед войной начальник разведуправления генерал Голиков докладывал важные сведения не по инстанции — не начальнику Генштаба Жукову, не наркому обороны Тимошенко, а минуя их, — Сталину. «Я не знаю, что из разведывательных сведений докладывалось И. В. Сталину генералом Ф. И. Голиковым лично, — писал Жуков. — Важные данные подобного рода, которые И. В. Сталин, быть может, получал лично, он мне не сообщал». Но применительно к тому времени он не мог бы сказать: «Я был очень близок со Сталиным». Это пришло в войну. И теперь его интересовал не столько сам факт обнаружения мертвого Гитлера, не вызвавший у него сомнения, сколько то, что в свете этого факта трудно поддавалось для него уяснению. Ему бы хотелось думать, что Сталин тоже не знал. Мои же объяснения лишали его этой возможности. А со своей прямолинейностью Жукову не усмотреть было в том его отстранении предвестие дальнейших суровых отстранений, которые последуют вскоре. Ведь вопрос о Гитлере был задан ему уже после Парада Победы. В первом же после завершения войны году И. В. Сталин отозвал Жукова из Берлина, назначил Главнокомандующим сухопутными войсками, и тут же вскоре он был снят с этого поста и с понижением направлен командовать округом.

— Когда шла подготовка к Параду Победы, мы думали, Верховный сам будет принимать парад,— сказал Жуков.— Он волевой. И он сначала, как видно, собирался. Пробовал. Неудачно.

Я поняла так, что Сталин пробовал тренироваться в верховой езде, но неудачно и отказался от намерения принимать парад. Ведь в те годы иначе как верхом на коне парад не принимали. И за несколько дней до парада Сталин вызвал Жукова, неожиданно для него спросил, не разучился ли он ездить на коне.

«— Нет, не разучился.

— Вот что, вам придется принимать Парад Победы. Командовать парадом будет Рокоссовский.

Я ответил:

— Спасибо за такую честь, но не лучше ли парад принимать вам? Вы Верховный Главнокомандующий, по праву и обязанности следует вам принимать парад.

И. В. Сталин сказал:

— Я уже стар принимать парады. Принимайте вы, вы помоложе».

«Без трех минут 10 я был на коне у Спасских ворот».

Рокоссовский скомандовал: «Парад, смирно!» И на десятый удар часов на Спасской башне, под гул аплодисментов маршал Жуков выехал на белом коне на Красную площадь. Оркестр грянул «Славься» Глинки. И весь цвет воевавшей армии, той, что выжила, замер перед ним. Доблестные маршалы, генералы, майоры, рядовые. Потом он поднялся на трибуну на Мавзолее и стоял рядом со Сталиным, и фотоаппарат запечатлел их.

Автор этого снимка известный фотокорреспондент Е. Халдей, побывав у Георгия Константиновича уже в последние годы его жизни — вручал ему фотографии,— рассказал мне: глядя на этот снимок, где он и Сталин рядом на Мавзолее на Параде Победы, Жуков вспоминал — лил дождь, и он хотел поднести к фуражке руку, смахнуть с козырька воду, но глянул на Сталина и не посмел. Сталин терпеливо и недвижно стоял под струйками воды, стекавшими с козырька его фуражки.

Еще когда теща приходила звать Машу обедать, Жуков спросил:

— Скажите, чтобы нам подали кофе. Будете кофе пить?

— Буду.

Через некоторое время она сама принесла небольшую салфетку сурового полотна, расстелила на столе, за которым мы сидели, поставила перед нами по чашке кофе, тарелочки и блюдо с печеньем «птифур» — так оно называлось до войны.

Мы пили кофе, продолжая разговор.

— Сталин не мог от меня скрыть, — упрямо сказал Жуков с какой-то солдатской отрешенностью. И с недоумением. Ему не просто было сжиться с тем, что это не так. — Я знал все его мысли. Я сто раз с ним обедал. Я работал в его доме, когда он болел. Я с ним был очень близок, как никто, до конца сорок шестого года, когда мы поссорились, — последние слова он сопровождал улыбкой.

Может, напрасно я постеснялась спросить, в чем заключалась та ссора, из-за чего. Неловко было прервать его таким вопросом, да и мог ведь замкнуться. Как бы там ни было, норовистый белый конь с триумфаторски выехавшим на нем кавалеристом маршалом Жуковым, которому шел сорок девятый год всего, оказался тоже раздражителем из тех, что привели к разрыву.

Спросила лишь:

— Вы пишете о Сталине?

Ответ был утвердительный.

Георгий Константинович напоминал мне, чтоб брала печенье, и сам ел, а когда допил кофе, попросил еще и чая, справившись у меня, не выпью ли и я. Я отказалась.

Его теща, не старая, средних лет, — сутуловатость как-то по-домашнему круглит спину, — взяла у него опорожненную чашку и вернулась с ней, наполненной крепким чаем.

— В начале войны у Сталина не было достаточных знаний, только опыт гражданской войны. Но он подучился после Сталинграда. Его Гитлер обманул. Сталин не хотел воевать. Мы были не готовы. У нас

до тридцать девятого года настоящей регулярной армии, по сути, не было — территориальные призывы. Сталин не хотел воевать. Он готов был, по-моему, на уступки... Когда поступали данные, что немецкие дивизии группируются тут, Сталин ему написал. Гитлер ответил — я читал, — что он дал слово, что его слово есть слово. Заверял, что это для других намерений. У нас полагали — для операции «Лев».

Операция «Лев» — это план вторжения немецкой армии в Англию, было известно, что оно напряженно там ожидалось в это время.

«Все его помыслы и действия, — пишет Жуков о Сталине тех предвоенных дней, — были пронизаны одним желанием — избежать войны и уверенностью в том, что ему это удастся». «Никто тогда и не думал сомневаться в его суждениях и оценках обстановки». Должно быть, и Генштаб, который с февраля 41-го возглавлял Г. К. Жуков, следовал ему, и вместе с разведывательными данными о готовящемся нападении немцев на стол подавались прогнозы, опровергающие эти данные, отодвигающие в некую даль нежелательную войну.

Сейчас, когда пишу, обращаюсь к размышлениям Стендаля, служившего в войсках Наполеона, о том, что государству и правителю «опорой может служить только то, что способно сопротивляться, и что представительные учреждения, не оказывающие противодействия, когда это необходимо, на деле не существуют».

Жуков написал, что не стремится «снять с себя долю ответственности за упущения того периода».

Допив чай, Георгий Константинович принял прежнюю позу — нога на ногу, и та, что закинута, чуть покачивается в свободном пространстве между столом и окном, обутая в мягкий мокасин. Руки, сложенные одна поверх другой, покоятся на колене. Иногда небольшие, ограниченные жесты руки принимают участие в беседе. Или положит руку на стол и движением пальцев как бы скрепляет сказанное. А потом снова ладонью прикроет кисть другой руки, лежащей на колене,

и в такой предпочтительно спокойной позе продолжает разговор. Говорит все так же мерно:

— Конечно, он уничтожил... Всю головку армии уничтожил... Мы вступили в войну без головки армии. Никого не было. Этого ему, конечно, нельзя простить.

Я сказала, что его злодеяния наложили печать на все и что это позор. Жуков не возражал.

Зазвонил телефон. Он поднялся, прошел наискось в глубь зала, где у противоположной стены, справа от буфета, был аппарат. Сказал в трубку кому-то: «Она на дежурстве». Я поняла, что речь шла о жене и что она, по-видимому, врач, как и подтвердилось потом.

Он вернулся. Продолжал:

— Я читал в пятьдесят седьмом году — меня Хрущев знакомил, — Ежов представлял список: на расстрел. Сталин подписывал. И с ним Молотов, Каганович, Ворошилов. Без суда. Не вызвал, не поговорил. Уборевич, Якир... Потом письмо написал, — с силой говорил он, нарушив свой мерный тон. — Читать это письмо невозможно. Что он предан революции... Невозможно. Душу раздирает... Как он мог не вызвать, не выслушать! Этого нельзя ему простить!

В словах Жукова звучало потрясение, когда он узнал, увидел своими глазами — прочел.

— Правда, Гитлер обманул Сталина, — сказал он, имея в виду, что немцы сфабриковали и подбросили документы, «уличавшие» Тухачевского в сотрудничестве с ними. — Но как он мог не вызвать, не поговорить! Не выслушать. Этого нельзя ему простить!

«Гигант военной мысли, — назвал он М. Н. Тухачевского в своей книге, — звезда первой величины в плеяде военных нашей Родины».

Я снова сказала о беззаконии и его трагических последствиях для страны. Жуков соглашался. Чувствовалось, он глубоко пережил XX съезд партии.

После смерти Сталина, в 1953 году, маршал Жуков был назначен заместителем министра, а вслед за тем министром обороны СССР. Был членом Президиума ЦК партии. Он снова работал в полную меру своих возможностей.

Но уже восемь лет, как он снят со всех постов, выведен из состава Президиума и из членов ЦК партии, не избран депутатом Верховного Совета СССР, — пол-

ностью отстранен от всякой государственной, партийной и общественной деятельности. Оставалось прошлое — годы героической славы. Ими он связан со Сталиным.

— Неверно пишет этот посол, — сказал он, желая как-то уравновесить только что высказанное.

— Майский?

— Он. Что Сталин был растерян — неделю никого не принимал. Шла работа по перестройке всего, поэтому не принимал. А насчет того, что он не выступал, так Молотов был председателем Совнаркома¹. А Сталин вообще часто не выступал. Надо было немного времени, чтобы посмотреть, как пойдут события. Поэтому он первый раз выступил третьего июля. А растерян он был два часа... Два часа был в полной растерянности. Два часа не принималось никаких решений. Ничего не предпринималось.

Два часа начавшейся войны, два часа неотданного приказа на ответный огонь на борьбу, сопротивление. Два часа гибели войск, самолетов, не поднявшихся с аэродромов, населения... Два часа полной растерянности, когда Сталин все еще не мог поверить в «вероломство» Гитлера, стоили неисчислимых жертв и обеспечили немцам успех продвижения.

Как драматично переданы в книге Жукова эти часы ожидания разрешения Сталина начать ответные действия. Когда почти через четыре часа наконец начали передавать в округа директиву наркома обороны — отбросить и уничтожить противника, то, как пишет маршал Жуков, «по соотношению сил и сложившейся обстановке она оказалась явно нереальной и не была проведена в жизнь». Было поздно.

7

Сад отступал от окна, понемногу погружаясь в глубокие сумерки, пока его совсем не поглотил осенний вечерний мрак. Я лишь мельком подмечала, в окно не поглядывала, прикованная к своему собеседнику.

¹ Г. К. Жуков оговорился. С мая 1941 г. И. В. Сталин — председатель Совнаркома СССР. В. М. Молотов стал заместителем председателя СНК, оставаясь и наркомом иностранных дел.

Он говорил доверительно, охотно, с потребностью высказаться о неотступном, сокровенном и, как мне показалось, еще не проговоренном.

...— Положение было отчаянным. Вы себе даже не представляете какое. Ведь ничего решительно не было: ни стали, ни порохов. Ничего. И ведь бралось откуда-то. Откуда только что бралось. Как чудо. При мне пришел Малышев: «Нет нужной стали». Надо было танки выпускать. Сталин как посмотрел на него. «Почему вы мне сообщаете? Ищите! Вы задание получили? Выполняйте!» И представьте себе — нашли! 300 тысяч тонн. Пишет: «Имеется 300 тысяч тонн стали. Прошу разрешить использовать». Это сталь на сооружение Дворца Советов. Сталин резолюцию: «Разрешаю. Войну выиграем, построим заново». Это только он так мог¹.

Я спросила, было ли у Сталина личное обаяние.

— Нет,— твердо сказал Жуков и покачал головой.— Скорее наоборот. Он был страшен. У него знаете какие глаза были. Какой взгляд — такой колючий... Иногда он бывал в хорошем настроении. Но это бывало редко. Когда успех в международных делах или военных. Тогда он мог даже петь, иногда. Не лишен был юмора. Но это бывало редко. К нему, как на ужас, шли. Да, когда он вызывал, к нему шли, как на ужас.

Я привожу эти слова полностью, чтобы остановиться и отдать дань стойкости Георгия Константиновича Жукова. С первого дня войны, представая перед Верховным Главнокомандующим на ежедневных докладах, он отстаивал свою оценку событий, свой план действий. Ему выпало испытать «всю тяжесть сталинского гнева», как он пишет. «Чувствуя свою правоту в том или ином спорном вопросе, Георгий Константинович мог довольно резко возражать Сталину, на что никто другой не отваживался», — свидетельствует в своих мемуарах генерал Штеменко. Об этом же пишут Рокоссовский и другие военачальники.

Жуков говорил снова неторопливо, негромко, а меня переспрашивал иногда: «Что?» — и мне приходилось говорить громко.

¹ Дворец Советов строился на месте разрушенного в тридцатые годы храма Христа Спасителя. По проекту Дворца Советов общий вес стального каркаса — 300 тыс. тонн. С войной строительство законсервировалось.

Меня предупредили, что он слегка недослышит. Я думала, это пришло с возрастом. Оказывается, еще в первую мировую войну он перенес тяжелую контузию с поражением слуха, в гражданскую был ранен в руку и ногу, а во вторую мировую в своих коротких письмах домой, теперь уже опубликованных, он нет-нет да признавался, что плохо слышит, ноет нога, побаливает голова. Едва ли кто видевший тогда на фронте волевого, энергичного, необычайно мобильного Жукова мог догадываться об этом. Куда только не бросала его Ставка. Он мгновенно появлялся на самых ответственных участках войны. В павшем Берлине он говорил Константину Федину: его шофер насчитал, «что я с ним 175 000 километров наездил за войну. Это выходит, сколько раз вокруг света? А я ведь не с ним одним ездил... Три самолета сносились, как башмаки».

Множество людей работало с Г. К. Жуковым в штабах, наблюдало его в разных ситуациях войны и мира, воевало под его началом в дни величайших событий, в дни его полководческих свершений. И лишь совсем немногие, вот как я сейчас, видели Жукова в трудные годы его замкнутой жизни.

Он коснулся в нашем разговоре неблагоприятного состояния Сталина после войны. Я спросила, не был ли Сталин болен.

— После войны, возможно, был. Он потрясен был войной. Он сам говорил мне в сорок седьмом (не оговорился ли Жуков, назвав этот год, перед тем ведь он говорил, что в сорок шестом рассорились): «Я — самый несчастный человек. Я даже своей тени боюсь». Войной он был потрясен. Берия его изводил, запугивал. Что какой-то агент перешел границу с заданием убить его.

— Чтобы продемонстрировать, что он его ограждает, спасает? — спросила я. — Чтобы самому укрепляться?

Жуков подтвердил, что с этой целью.

— Действовал он при этом через кого-нибудь. Не сам. Большею частью через Маленкова. Я сам был свидетелем этому.

Как-то Жуков ехал со Сталиным.

— Стекла в машине вот такие. (Он показал пальцами толщину стекол — сантиметров примерно в десять.) Впереди сел начальник личной охраны Сталина. Сталин указал мне, чтобы я сел на заднее место.

Я удивился. Ехали так: впереди начальник личной охраны — Власик, за ним — Сталин, за Сталиным — я. Я спросил потом у Власика: почему он меня туда посадил? «А это он всегда так. Чтобы если будут спереди стрелять — в меня попадут. А если сзади — в вас».

В разгар этого разговора появилась опять Маша из сада, в пальто, в вязаной шапочке. С разбега — к отцу, еще на расстоянии показывая в приоткрытой ладошке яйцо.

— Нашла? — заинтересованно включился он, на равных деля с ней ее занятия и радости.

Она утвердительно кивнула и, не задерживаясь, проворно метнулась к буфету.

Я спросила:

— Чье это? — Мне оно показалось маленьким, чуть ли не голубиным.

— Куриное, — удивился моему вопросу Георгий Константинович. — У нас десять курочек. Завели. Ей так интересно. Она так радуется, когда найдет, — с какой-то особой углубленной серьезностью говорил он.

Он прожил так масштабно, что дробное, житейское едва ли попадало раньше в его поле зрения.

И вот десять курочек...

А живая сероглазая, с ясным лбом девчурка мчится к сказочно гигантскому буфету и как ни в чем не бывало кладет на него найденное яйцо.

8

— Меня Сталин спас, — сказал он вдруг хмуровато. — Берия и Абакумов хотели меня уничтожить.

Перерыли у него в кабинете, вскрыли сейф. Обнаружили кое-что, не то оперативные карты минувшей войны, не то что-то еще в том же роде — все отыгранное, устаревшее, однако предписанное сдавать. Состряпали дело. За хранение в нарушение предписания материалов он получил выговор или строгий выговор (не расслышала четко).

Мне показалось, он со своим прямодушием искренне полагает их действия независимыми, не санкционированными в той или иной степени.

Арестовали работавших с ним генералов, в том числе члена Военного совета 1-го Белорусского фронта генерала Телегина.

— Но антисталинский заговор Жукова соорудить им не удалось,— сказал с живостью.

Я спросила, пишет ли он обо всем этом в своей книге. Жуков промолчал. Потом сказал:

— Я вот дал прочитать две главы одному редактору (похоже, что редактору «Военно-исторического журнала». Он как раз держал в руках этот журнал, снова взяв его со стола). Он сказал: «Это бесценно. Но печатать невозможно. Кто ж разрешит».

Говорил он об этом, отчасти гордясь написанным и чувствуя себя просторно в работе,— еще не приступали к редактированию, еще не изведаль затруднений при прохождении рукописи и той знакомой литераторам ситуации: кто ж разрешит. Настроен был как-то эпически сдержанно, хотя не мог, наверное, не сознавать драматизма молчания. Уже главнокомандующие союзников и немецкие генералы написали свои мемуары. Многие наши известные военачальники — тоже. И некоторые из них — с нареканиями в его адрес, благо он пока что безответен.

Я спросила, охватывает он только войну в своей книге или все предыдущее тоже.

Он — полууклончиво:

— И то и другое. Еще не окончено.

И добавил твердо:

— Героики у меня не будет. Как солдаты, офицеры совершали подвиги, этого у меня нет. Пишу о том, что было в моей сфере. Когда я читаю, как командующий фронтом пишет о том, как офицер с пулеметом отстреливался или еще что в таком роде,— так это он прочел, сам он этого не видел. Это не в сфере командующего фронтом. Надо писать о том, что ты сам знаешь.

— У нас такое пишут о войне, что читать невозможно,— сказал он.— Взять историю Отечественной войны. Ее нельзя читать. Ее наново писать надо.

Он говорил, что неверно пишут у нас о немецкой армии.

— Принижают. Еще неизвестно, как бы все пошло, если б с нами одними им воевать: они не учли, что им придется воевать на два фронта — с партизанами.

— Такой армии никогда не было. Ни в одной буржуазной стране,— продолжал он.— Растянули фронт, когда к Волге вышли,— разжижили, ослабили. Это, понятно, обречено.

Но это то, что касается их генштаба. А солдат и офицеров немецкой армии Жуков очень высоко оценил.

— У нас их изображают карикатурно, принижают. А это неверно. И с какой же стати так делается? Против кого мы воевали? Мы воевали против сильнейшей армии. Таких солдат и офицеров не было. И они ведь до последнего воевали. Сопротивлялись. Вот уже капитуляция. А они решают сдаваться не нам, а союзникам и уходят организованно, пробиваются.

Заговорили об опубликованных воспоминаниях одного военачальника, и Жуков о них с возмущением:

— ...Ведь это сухость. И ведь как написано. Совершенно несамокритично. Ни одной ошибки у него нет. Операция осуществляется вся как по писаному. Ни единой ошибки. А как бы это освежило! Если б взглянуть на это как следует. А какой он тяжелый человек, это я хорошо знаю. И как это он не сказал ни разу о своих ошибках! Его два раза снимали. Он под Вязьмой фронт открыл, — настойчиво говорил он, горячась. — Шестьсот тысяч попало тогда к немцам. Шестьсот тысяч человек по его вине. И он ни слова об этом. Нигде ни слова. Как будто и не было. Он немцам на Москву путь открыл. Все было оголено. Вы не представляете, что было. Оголено было все вплоть до Москвы. Его Сталин хотел под военно-полевой суд отдать. Я вступился: «Он еще пригодится. Пусть у меня замом будет»...

Жуков с негодованием отвергал такой характер воспоминаний, при котором течение военных событий сглажено, очищено от драматизма, не знает ошибок, провалов, катастроф. И можно было понять, что, говоря это, он в противовес такой гладкописи опирался на свои собственные мемуары, которые уже заканчивал к этому времени. Возможно, в первом варианте они содержали больше тому примеров. Но о просчетах в Берлинской операции есть в изданной книге, есть и о других ошибках.

Когда вышла эта книга, с именем ее автора на переплете, с посвящением советскому солдату, она вызвала огромный интерес и поток читательских писем маршалу Жукову. К тому времени он уже не был прежним затворником и у него бывали корреспонденты, сотрудники музеев, издательства.

За весь долгий разговор Жуков ни разу не сказал: «Я принял решение» — или что тогда-то при критических обстоятельствах он выстоял или одолел немцев, как это и было. А ведь я, его слушатель, из цеха пишущих. Но он не заботился о том, чтобы произвести впечатление. А если ошибаюсь, то делал он это очень складно, так что заметить не пришлось.

Вот уже ряд лет он вынужден молча издали наблюдать, как исчезало или пригорбливало, ущемлялось его имя, заслуги, престиж. Не публиковались его фотографии¹. Но об этом он ни слова. И с естественным достоинством ни слова о своих заслугах.

Он только раз похвалил себя, вернее, свою память. И то в косвенной связи, — порицая одного военного, который, как Жуков говорил, приписывает в своих воспоминаниях Сталину выступление, которого на самом деле не было. Тут он сказал:

— У меня память хорошая, исключительная. Это сейчас что-нибудь могу забыть. А то, что было, я все помню. Потом по документам сличишь — точно.

— Мы тогда разыгрывали войну с Германией, — сказал он. — Это была стратегическая, командно-штабная игра. — Незадолго до войны. Я был командующим немецкими армиями. Я нанес три удара. Точно, как потом по «Барбаросса». «Военные могут быть свободны», — сказал тогда на Политбюро Сталин. Поднял руку и голову опустил. — Жуков изобразил. — Так всегда он, прощаясь.

Это в том смысле, что на Политбюро, где подводились итоги штабной игры, Сталин не выступал, во всяком случае при них, и тут погрешил против правды осуждаемый им мемуарист. Мне же показался интересным рассказанный им факт о штабной игре. И то, что потом, в Берлине, Жуков, некогда «командовавший» «немецкими армиями», и Гитлер в своем бункере — на таком сближении, каждый со своими штабами и планами.

Я сказала об этом. Он прислушался молча. Ничего не сказал.

— Вы читали Еременко? — спросил о воспомина-

¹ Я бывала в то время и позже в Музее Вооруженных Сил. Посреди зала Победы — застекленный мундир маршала Рокоссовского, тот, что был на нем, когда он командовал Парадом Победы. Но следов маршала Жукова, принимавшего этот парад, в зале Победы не было.

ниях, в которых тот пишет, что в разработке Сталинградской операции, в руководстве боевыми действиями участвовали только Хрущев и он, Еременко.— Это неправда... Я его спросил: «Как же ты такое написал?» А он: «Меня Хрущев попросил». А мне кто бы ни сказал, я бы не написал неправду.

В это верилось.

Он был полон решимости стоять на своем. Сказано это им было 2 ноября 1965 года, когда он уже заканчивал мемуары, а подписаны они к печати лишь 24.XII.1968 г. Между этими двумя датами Жуков намытарился с книгой. И, больной, мучимый страстным желанием увидеть при жизни свою книгу опубликованной, уступил настояниям, советам, замечаниям. Что-то ушло из печати, что-то переакцентировалось, что-то добавлялось. К примеру: «Героики» у меня не будет,— говорил с каким-то даже вызовом.— Пишу о том, что было в моей сфере...» Но «офицеры с пулеметами» и отличившиеся рядовые, присутствие которых в мемуарах военачальников в ранге командующих фронтами он осудил как материал, взятый напрокат, заимствованный из книг, а не тот первородный, которым владеет мемуарист и ради которого лишь берется за перо,— чьим-то усердием появились кое-где в его книге, похоже, из раскавыченных донесений политотделов.

Он не соразмерил барьер выносливости с такой катастрофой, как неразрешение на выход книги.

Вот и подумаешь о писателях: природа сотворяла их не из такого крепкого материала и по роду дарования они и хрупки, и чувствительны, и лабильны, а нередко выстаивают. Может, стойкость входит в состав этой профессии.

9

По мере того как текло время нашей встречи, она становилась непринужденней. Разговор в его трудной части давно миновал. Георгий Константинович держался все контактнее. Теперь он часто наклонялся ко мне через стол и оживленно пересыпал слова улыбкой. От улыбки лицо прояснялось, глубоко сидящие глаза как бы выходили из хмурой засады, были ближе к собеседнику, смотрели расположено, внимательно. Ни-

какой черствости в лице — живой, неокаменевающий, еще молодой Жуков.

— У немцев приказ был следить, где Жуков, — сказал он. — Я ведь поэтому шифровки Сталину подписывал — Константинов. Сейчас, если найдете их, и не поймете, что Константинов — это я. Константинов без инициала. А у меня командир корпуса был Константинов.

Я рассказала, что мне, переводчику, было вменено выяснять у немцев, в особенности если офицер попадает в плен, как они оценивают наши слабые и сильные стороны. Мне не раз называли наши преимущества: танк «Т-34», выносливость солдат, Жуков...

Он выслушал сосредоточенно, о чем-то думая.

Порой было слышно: где-то в глубине дома звонит другой телефон. Раза два появлялся пожилой, очень худой мужчина в черном костюме. Не глядя в нашу сторону, проходил краешком зала, держась у стены, скрывался в проем, ведущий в кухню, и снова возвращался оттуда. Вероятно, кто-то свой или из обслуживающих.

Жуков снова сказал, что пишет сейчас о Берлинской операции.

— Я ссылаюсь там на вас. На «Конец Гитлера...» — И запнулся, улыбнувшись и стараясь припомнить, как там дальше в этом мудреном названии моей книги, которым наделило ее АПН для распространения за рубежом. — «Конец Гитлера без мифа и детектива».

Я не спросила, на что именно ссылается он. Возможно, он имел в виду как раз ту ссылку, которую потом мне зачитала по телефону его редактор.

Тут еще раз зазвонил телефон в зале, и Жуков снова поднялся, грузноватый, но шел неотяжеленно через весь зал к так далеко стоящему аппарату.

Вернувшись, спросил, улыбаясь и не скрывая любопытства:

— А вас как же АПН не закабалило по договору?

Его занимало, что моя книга, помимо АПН, выходит в другом издательстве для советского читателя. Тогда как его рукопись всецело принадлежит теперь АПН.

Я объяснила ему, что у меня еще до предложения АПН об издании моей рукописи за рубежом был договор

с «Советским писателем», о чем АПН было известно.

Просил прислать ему упомянутую мной в разговоре мою новую повесть, которая вот-вот должна была появиться в ноябрьском номере «Нового мира».

Я глянула на часы.

— Засиделась я. Наверное, вы утомились.

Он сказал:

— Ну, на первый раз... — В том смысле, что в самом деле для первого раза вроде бы достаточно поговорили.

Но не отпускал. И видно было: не наговорился.

Посидели еще, поговорили. Он спросил, дам ли я ему тот документ: его — Сталину, об обнаружении мертвого Геббельса (то есть копию, разумеется).

Я пообещала.

Поднявшись уходить, я сказала, что мне лестно, что его заинтересовала моя работа и что я ему помогу охотно, чем смогу, но не потому, что от этого может зависеть судьба моей книги. Посмотрю среди документов, нет ли чего еще, что может ему пригодиться.

Мне пришлось также сказать, что в документы, подписанные им в те неувеселенные, бурные дни, вкрались описки и я могла бы обратить на них его внимание. Жуков охотно принял мое предложение¹.

— Вот мы и встретились, — и повторил сказанное им в первые минуты встречи: — Это все же что-то еще...

Эта дважды им повторенная фраза в начале и в конце нашей встречи (о том, что увидеться — это «что-то еще» сверх знакомства по прочитанной книге) — един-

¹ Так, например, в сообщении от 3 мая 1945 г. на имя Сталина, подписанном маршалом Жуковым и членом Военного совета фронта генералом Телегиным, говорится, что покончивший с собой Геббельс обнаружен «на территории имперской канцелярии рейхстага». Были и еще подобные фактические ошибки. Ясно, что Жуков подписал документ, лишь бегло проглядев его. (Это тоже свидетельствует о том, как далек он был от круга вопросов, освещаемых в сообщении.) При внимательном чтении он не мог бы не заметить этой и других оплошностей. Хотя командный пункт фронта находился от Берлина довольно далеко, но оперативные карты, можно сказать, еще не остыли — Берлин пал накануне, — и на картах было отчетливо видно, что два разных здания — рейхстаг и имперская канцелярия — отстоят друг от друга на пятьсот метров и между ними проходит разграничительная линия соседствующих армий штурма. (Кстати, уже позже этот документ был полностью приведен в опубликованных мемуарах одного военачальника без комментариев.)

ственное за весь разговор расплывчатое, незавершенное суждение и тем емкое, в каком-то другом ряду стоящее.

Мы шли по ковру, потом по половику, застелившему паркет, к стеклянным дверям, ведущим из зала. Здесь протекла наша беседа, длившаяся более четырех часов. И хотя мое внимание было приковано к Жукову и отчасти сковано им, я знала, что уношу с собой и этот зал, его облик, предметы.

Мы уже вышли в прихожую. Говорили о писателях. Он сказал, что знает лично Симонова, Смирнова и Кремлева. Похвалил военную прозу Симонова.

— Мы с ним знакомы с Халхин-Гола, я армией командовал, а он был тогда еще молодой, начинающий журналист. «Товарищи по оружию» слабее, а «Солдатами не рождаются» — тут он расписался.

Эту вещь Жуков очень похвалил.

— А как вам?

Я только начала читать тогда и ответила уклончиво, что собираюсь прочитать целиком.

— А я читаю, и у меня ничто не вызывает возражения, — сказал он.

Помолчали. Вроде повисло что-то несказанным. Ведь для него, наверно, была странной эта наша встреча. Он коснулся старой тайны, сокрытия ее от него, непосвящения. Хоть и амортизированный временем, — осязаемый укол.

Пока подавал пальто и я одевалась, расспрашивал заинтересованно:

— У вас семья, дети?

— Дочь. Муж.

— Ну раз дочь, то и муж.

— Бывает всяко.

— А муж чем занимается?

И обрадовался, услышав, что муж — тоже литератор. В этот момент, видимо, для него прояснилось неясное, как это женщина сумела справиться с книгой. Ведь существует представление, что за каждого пишет кто-то другой. И не сдержался, не без лукавства спросил, как мы работаем.

— Каждый сам за себя, — поняв его, ответила я, как есть, но тоже включаясь в игру.

— А на машинке как же? Кто же из вас печатает? — все любопытствовал весело.

— Раньше я печатала работы мужа, теперь сам научился.

— Приезжайте подышать воздухом,— говорил он. Был сейчас прост, мил. Житейский человек.— У вас дачи нет?

— Нет.

— Значит, и забот нету. Это не моя дача. Я живу здесь двадцать пять лет. А где же вы летом живете?

— В Звенигороде снимаем.

Название этого старинного подмосковного городка ему ничего не говорило.

Он попросил еще раз насчет документов:

— Когда подготовите, позвоните, мой адъютант заедет к вам за ними.

Жуков вышел проводить меня на крыльцо, без пальто, в одном костюме.

— Простудитесь.

— Я здоровый,— сказал он.

Черная машина стояла у самых ступеней. Шофер, похоже, все это время не отлучался от машины.

Спустились к машине. Вверху на открытой террасе, расположенной над крыльцом, появились Маша и бабушка, громко, оживленно прощались со мной, редчайшим в то время посторонним посетителем дома.

Там, наверху, возможно, все по-другому, уютнее, теплее.

Шофер спросил «товарища маршала» своим низким с хрипотцой голосом насчет того, когда подавать завтра.

Жуков спросил наверх:

— Маша завтра поедет?

И, получив утвердительный ответ от тещи, сказал шоферу, когда ему прибыть.

Последнее рукопожатие Жукова. Машина тронулась. Маша и бабушка махали мне. Фары осветили прямую асфальтовую тропу. По сторонам ее темный, неразличимый сад. Луч полоснул по глухому, неосвещенному двухэтажному дому, где прежде жила охрана. Не выключая фар, шофер остановил машину, открыл ворота, вернулся. А потом, по ту сторону ворот, снова вышел закрыть их. Было странно, что в этой осенней, крошечной темноте нигде и не чувствовалось присутствие сторожа.

Я поделилась с шофером последним вынесенным впечатлением:

— Георгий Константинович, слава богу, еще крепок.

И он поддержал и добавил от себя что-то еще утвердительное.

Не могла я представить себе, что через шесть дней у Жукова случится инфаркт, что я, вероятно, последняя из неблизких ему людей, кто видел его таким еще здоровым, бодрым, в лучший за предшествующие годы момент его жизни: он заканчивал книгу, в работе над ней снова переживая войну, он был счастлив в личной жизни, он, как мне показалось, надеялся вернуться к государственной деятельности.

Выехали на кольцевую. Шофер в своей старой шляпе сосредоточенно вел покряхтывающую машину. Старый «ЗИС».

— На таком же Сталин ездил,— сказал он.

1965, 1986

СОДЕРЖАНИЕ

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Тверской бульвар	4
Великий Немой	27
За Тверской заставой	
Наш дом	36
Трамвай номер шесть	50
Знаки препинания	69

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН

Тягло	108
Дождь	119
Второй эшелон	125
Бойкая дорога	144
По пути	148
Дусин денек	152
Под Ржевом	160
«Маленькая история» одного латыша	196
Зятьки	207

В ТОТ ДЕНЬ, ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ

Старинная удача	224
Берлинские страницы	251
В тот день, поздней осенью (<i>Рассказ о встрече с маршалом Жуковым</i>)	271

ВЕЧЕРНИЙ РАЗГОВОР

Жив, браток?	310
Нескончаемое расставание	324
Лирическое путешествие	345
«Сегодня купаться запрещено»	359
Стук да бряк	375
На асфальте	383
Вечерний разговор	386
Летучие мысли	390

ЕЛЕНА МОИСЕЕВНА РЖЕВСКАЯ

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

Редактор *Е. В. Леонова*
Художественный редактор *Д. С. Мухин*
Технический редактор *Т. С. Казовская*
Корректор *И. Е. Данилина*

ИБ № 7205

Сдано в набор 28.11.88. Подписано к печати 05.09.89.
А 05539. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. № 2. Жур-
нальная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,84.
Уч.-изд. л. 21,65. Тираж 100 000 экз. Заказ № 847.
Цена 1 р. 60 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский
писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11

Тульская типография Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по печати,
300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Ржевская Е. М.
Р 48 **Знаки препинания: Рассказы, записки.— М.:
Советский писатель, 1989.—416 с.**

ISBN 5—265—00622—2

Новый сборник известной писательницы Елены Ржевской составлен из рассказов, записок в основном автобиографических, печатавшихся ранее в журналах или в книгах, вызывавших большой читательский интерес. Это рассказы о юности писательницы, о довоенной Москве со всеми красками и приметами тех лет, о военной поре фронтовой переводчицы — Елены Ржевской.

В книгу входят и произведения, не известные ранее читателю, а также подробный рассказ о встрече писательницы с маршалом Г. К. Жуковым.

4702010201—350

Р ————— 115—89

083(02)—89

ББК 84 Р7

84P7
P48

ЕЛЕНА РЖЕВСКАЯ

